

18+

Николай Борисов-Линда



**ПО САМОМУ,  
ПО КРАЮ...**

Избранное

**Николай Борисов-Линда**  
**По самому,**  
**по краю... Избранное**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63584556](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63584556)*

*ISBN 9785005198273*

**Аннотация**

Кто создал Тьму? Со Светом, вроде, ясно. Хоть и не всё для нашего ума. Быть может, Свет Господь творил напрасно? И Человеку больше Тьма нужна?

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

79

# По самому, по краю...

## Избранное

# Николай Борисов-Линда

© Николай Борисов-Линда, 2021

ISBN 978-5-0051-9827-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero  
*КОЛОКОЛ*

Ещё с ночи моросил мелкий холодный дождь. В содружестве с порывистым ветром он был неприятен.

Пожухлая трава, вперемешку с грязью, налипала на сапоги, и они становились тяжёлыми гириями, то и дело норовившими свалиться с ног.

Груженный КамАЗ рычал надрывно, словно ругаясь, и из последних сил полз по дороге, наворачивая на колёса огромные лохмотья грязи.

Впереди него, путаясь в полах мокрой и испачканной грязью рясы, суетился священник, то и дело своими действиями вызывая недовольство водителя:

– Уйди! Мать твою, раздавлю! – кричал тот в открытое ок-

но и остервенело крутил руль то в одну, то в другую сторону.

– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги! Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас, – лепетал священник мокрыми от дождя губами.

Был он среднего роста, и даже промокшая насквозь фуфайка, надетая поверх рясы, не скрывала его угловатой худобы. Он прилипал к грязи, и только в последний момент, когда казалось, что машина наедет на него, что-то невероятное отрывало его, уводя в сторону.

– Ещё, ещё, вот-вот, сюда-сюда... – он указывал рукой, куда должен был подъехать КамАЗ. – Вот туточки, туточки. Слава тебе, Господи! Приехали.

КамАЗ остановился, дверь отворилась, и из неё вывалился водитель. Чвякнув обеими ногами в грязь, он заорал на священника:

– Ты что, скаженный! Посадить меня в тюрьму хочешь?! Я тебе где говорил идти? Урод! Щас матюкальник-то разобью, мать твою. Дураком хочешь меня сделать?

– Ничего, ничего, – улыбался тот. – На всё воля Божья. – Его улыбка была так чиста и наивна, что водитель на мгновение онемел и, махнув рукой, подошёл к борту машины. Зло бросив: —Правда, говорят, юродивый, – он открыл борт, тот, заскрипев, упал, громко лязгнув. На кузове КамАЗа стоял колокол.

– Забирай, блин! Где кран?! Где люди?! – водитель опять начал кричать. – Связался я с тобой, скаженный! Ну, мала-

ХОЛЬНЫЙ!

– Ничего. Ничего, Василий, не ругайся. Я сам... С Божьей помощью...

– Что сам? С какой помощью? Вообще что ль, придурок? Или по жизни придуриваешься? Ты хоть знаешь, сколько он весит. Это же, Благовест, – он указательным пальцем показал вверх. – Он больше шести тонн весит. Здесь кран нужен... ты слышишь меня? Кран и люди... С Божьей помощью... урод...

Священник, явно не слушая его, подошёл к машине, навалился на открытый борт грудью и, улыбаясь, прикоснулся озябшими губами к колоколу. Дождь горстями бросался ему в лицо и большими каплями стекал по лбу, скулам, носу, жиденькой бородке.

– Вот мы и приехали. Вот мы и дома, – он гладил холодный край бугристого металла посиневшими от холода руками, и казалось, не видел, не замечал ни холодного осеннего дождя, ни промозглого ветра. Глаза его, широко распахнутые, смотрели на колокол с теплом и любовью. Что ещё больше взбесило водителя.

Василий, озлобленный происходящим, тем, что нет ни крана, ни людей возле этой полуразрушенной церкви, ни вообще перспективы уехать сегодня домой, подошёл с желанием от всей души пнуть грязным сапогом этого юродивого священника. И уже изловчился, пытаюсь вложить в силу удара всю свою сноровку, но как-то неестественно повернулся

и его повело всем телом, да так неудачно, что он не успел сгруппироваться и ляпнулся вниз лицом у самых ног священника.

Тот встрепенулся:

– Что ж ты так, Василий? Осторожней надо, грязь же, – и кинулся помогать ему подняться.

– Да иди ты, – Василий встал, зло оттолкнул священника.—Праведник хренов. – Страхнув с рук грязь, он стал озираться по сторонам:

– Где кран? Где люди? Где? Где? – И передразнил: – С Божьей помощью, с Божьей помощью. У-у-у, мать твою, дышлом по голове.

– Так вон же люди, – отец Андрей показал на церковь. Василий посмотрел в указанном направлении и едва не взвыл от отчаяния и ненависти к этому придурочному священнику.

В пустом проёме церкви, где должна была быть входная дверь, стояли старушки, их было не то пять, не то шесть человек. Маленькие, нахохлившиеся, закутанные в платки, они показались ему какими-то тряпичными куклами. А их валенки, обутые в галоши, словно подчёркивали всю нереальность ситуации.

Василий в бессилии как стоял, так и сел в грязь.

– Да что ты, Василий, сейчас тебя покормят, обогреют. А за это время мы камп... с Божьей помощью и сымем. Вставай. Вставай, родненький. Мокро же и холодно. Не дай Бог

застудишь свои причиндалы, – он улыбнулся и участливо протянул ему руку. – Что потом жена скажет. Вставай, родненький. Вставай.

Василий словно в прострации встал, ему не хотелось ни спорить, ни говорить. Он зачем-то закрыл машину на замок и, не сопротивляясь, побрёл за священником. В голове мысли перекатывались нехотя, перекликаясь друг с другом: «Сегодня, конечно же, домой он не попадёт, если только завтра к вечеру, и то вряд ли. Завтра у жены день рождения, стол накроют, друзья придут, есть повод выпить, а здесь...»

Подойдя к старушкам, священник снял мокрую скуфью, поклонился:

– Здравствуйте, мои дорогие, вот мы и приехали. Небось, заждались? Баба Маня, – он обратился к маленькой старушке. – Надо бы Василия обогреть, накормить, как-никак, а добрых триста километров проехали. Устал сердешный.

– Батюшка, благослови, – старушка кинулась к священнику, крестообразно кладя ладони и преклоняя голову. – Мы ведь не чаяли увидеть тебя. Слух прошёл, что отец Андрей наш сбёг. Не выдержал мытарств и сбёг. Да мы уж и смирились. Почитай три месяца, как ни слуху, ни духу. А тут на тебе... колокол. Радость-то какая, батюшка!

На что священник блаженно улыбнулся:

– Да как можно, баба Маня. Я же говорил, что в первую очередь нам колокол нужен. Звонница вона же целёхонька... Поставим колокол, не только церква оживёт, округа вся

от гласа его дрёму сбросит. По-новому жить начнём, по-Божьи.

Он вдруг стал серьёзным и совсем не таким, каким его только что видел Василий. И даже, как показалось Василию, отец Андрей стал выше ростом и как-то даже светлее.

Благословляя старушек крестным знамением, он говорил: «Бог благословит!» А они тянулись к нему, целовали руку, отходили крестясь и шепча молитвы.

Василий бродил по церкви и удивлялся её чистоте. Он обратил внимание, что оставшаяся на полу плитка и та вымыта. И тут его будто кто в сердце толкнул, он оглянулся и увидел цепочку грязного следа, оставленного сапогами. Ему стало совестно за свою невнимательность и нечистоплотность. Он в досаде вышел на улицу. Тщательно отскоблил и обтёр сапоги пучками сухой травы, внутренне коря себя за то, что не сделал этого раньше. Отойдя чуть в сторонку и встав под навес, он стал разглядывать округу.

У Василия это был третий рейс. Да и работал он на колокольном заводе всего-то пять месяцев. Платили не очень. Если же выпадали такие поездки, то жить было можно.

Этот попик, как он его про себя прозвал, появился у них на заводе два месяца назад с просьбой о милости к его церкви и прихожанам. За два месяца он «достал» всех, начиная с охранников и заканчивая директором.

В день притаскивал на себе до пятидесяти килограммов металлолома (и где только он его находил?), прося, чтобы

на его лом отлили для его церкви колокол. Денег, мол, нет ни на восстановление церкви, ни на колокол. Он просил, чтобы его самого использовали на самых грязных и тяжёлых работах, а деньги, которые он заработает, чтобы пошли на литьё колокола.

И его использовали на самых грязных работах, посмеиваясь меж собой: побольше бы таких... коммунистов. Глядишь, и коммунизм бы так построили.

Где он жил и чем питался, никто не знал, но, по-видимому, Русская земля не до конца ещё оскудела на добродетелей, не до конца ещё обнищала на хороших людей, в один из дней по заводу прошёл слух, что кто-то облагодетельствовал попика колоколом.

На отливку колокола священник опоздал. Где его нелегкая носила, никто не знал. В цех он вбежал, сильно запыхавшись, с лихорадочным блеском в глазах. Крестясь, он вертел головой то в одну, то в другую сторону и кланялся, причитая: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Подбежал к мастеру и вопрошал жалостливо:

– Да как же так? Без меня начали... Без моего на то благословения. Без моей молитвы... Как же... А?

– Да не волнуйся, отец Андрей, прочли молитву, прочли, не суетись. Всё будет как положено. Нам не впервой, – тот улыбался, покачивая головой, – как-никак, а специалисты. Колокол получится на зависть всем.

– Не надо на зависть. Зачем на зависть? – Он в незна-

дёжности крутил головой. – Как же без меня-то? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. Не можно так.

Ан, нет. Колокол не получился. Его разбили. Рабочие меж собой поговаривали, что надо было священника подождать, полчаса, час... надо было батюшку уважить, глядишь, и впрямь не случилось бы казуса. И плавку перенесли ещё на неделю.

Оставшиеся дни до указанного срока отец Андрей жил на заводе, помогал всем и везде, где только можно. И многие в разговорах между собой признавались, что от этого неугодного и какого-то неистового священника веет покойным теплом, что, поговоришь с ним и как-то на сердце легче становится, а день светлее и чище.

И вот знаменательный момент настал.

С самого утра и пока шла плавка священник стоял в углу цеха и молился, и только по окончании отливки он тихо и незаметно вышел, по-прежнему нашептывая молитвы.

На другой день Василию сообщили, что ему везти груз. Новость насторожила, поскольку водители поговаривали, что там, куда ему ехать, дороги нет. Есть только название. Когда же посмотрел по карте, куда везти, то, можно сказать, внутренне прослезился.

Расстояние в триста километров не пугало, настораживали последние тридцать. Просёлочная дорога по осени, да ещё вдали от населенных пунктов, это испытание, а не рабо-

та. В этот же день он сказал о своих сомнениях священнику, тот только блаженно улыбнулся:

– Да что ты, Василий, мы с Божьей помощью доедем, а если где и застрянем, так я добегу. Там займки есть. Люди у нас добрые, помогут. Ты не сумлевайся. Слава тебе, Господи, колокол народился.

Отказаться было невозможно, сам директор говорил напутственные слова, да и командировочные для семьи словно подгаданы в самый раз.

Отец Андрей, худой, измождённый священник лет сорока, был не то что добр и вежлив, а какой-то слащаво угодливый. И этой своей угодливостью, вечной уступчивостью, словно он всем обязан и у всех в долгах, вызывал у Василия какую-то брезгливую антипатию. И он бурчал про себя: «Бог, Бог, заладил, а не шевельнешь пальцем, так где он, твой этот Бог. Вон люди мрут, убивают друг дружку... Бог... Бог... Не горбатился бы здесь, дал бы тебе Бог колокол? Попик хренов».

Как они добрались до этой полуразрушенной церкви, Василий и сейчас не может взять в толк.

Когда съехали с асфальта, у него мелькнула мысль вернуться. Чёрт с ними, с командировочными, ну, объявят выговор. Или оставить груз где-нибудь рядышком, пусть этот малахольный попик на пару со своим Богом и везут его дальше сами, без него.

Проехав пять километров, он уже твердо решил вернуть-

ся, но его словно кто-то легонько подталкивал в спину, заставляя двигаться всё дальше и дальше по этому отвратительному бездорожью. Да и ненормальный попик, как только КамАЗ начинал буксовать, выскакивал из кабины и подкидывал под колеса всё, что попадало под руку, казалось, ещё мгновение и сам отец Андрей ляжет под колесо, только бы машина не остановилась. И эта его ненормальная одержимость заставляла самого Василия сливаться с машиной, и когда уже у той не оставалось сил и она должна была встать или заглохнуть, Василий отдавал ей свои силы, и она двигалась.

Разбитость дороги была ужасающей, и у Василия нет-нет да мелькала мысль, может быть, и на самом деле кто-то помогает им. Но он тут же гнал её от себя. Какой Бог? Какая такая его помощь? Это он, Василий, опытный и классный водитель, не даёт машине забуксовать в разбитых колдобинах. Это он, Василий, благодаря своему предчувствию, накопленному опять же большим стажем работы опыту, не даёт машине увязнуть в чёрной и вязкой жиже.

– Ну что, милочка, задумался? – Его кто-то осторожно тронул за локоть. – Плохо у нас? Да, это не город. Пойдём, пойдём в хатку. – Он вздрогнул от неожиданности. Рядом стояла маленькая баба Маня. – Пойдём, пойдём в хатку. Там борщок у меня настоялся, молочком парным угощу. Пойдём. – Она повернулась к нему спиной и пошла, тяжело вытаскивая ноги из грязи.

Василий усмехнулся:

– Баба Маня, а кроме парного молока у тебя больше ничего нет? Что-нибудь покрепче?

– Есть, есть, милоч. Как же без этого. Если захочешь, то и баньку согреем.

– А чё, и баньку можно? Ну, у вас, бабуль, и сервис! – Василий хохотнул, и ему представилась банька с берёзовым веничком, водочка в граненом стакане, огурчики на тарелочке и на душе потеплело.

Изба бабы Мани оказалась недалеко от церкви. Она была небольшой, состарившейся, но стоящей ещё крепко и справно. Во дворе их встретил маленький и шустрый пёсик, он тявкал так звонко и радостно, словно в Василии увидел своего хозяина. Василий протянул ему навстречу руку, здороваясь, и тот лизнул её, изгибаясь всем своим телом. Здесь же топтались утки и по сухим углам сидели нахохлившиеся куры.

Звякнув щеколдой, баба Маня открыла дверь, и из комнаты пахнуло борщом и укропом, и ещё чем-то таким родным Василию, что ему вспомнилось детство.

Стянув сапоги, он, нагнувшись, переступил через порог и оказался в комнате. Деревянный крашеный пол, подзорники на окнах, рамки с фотографиями на стенах, русская печь – всё было так знакомо и привычно Василию, словно он жил здесь раньше и вот, после долгого отсутствия, вернулся. В красном углу находилась божница с иконой Спасителя, и Василий, неожиданно для себя, перекрестился. И от этой

своей непонятной неожиданности зарделся лицом, смутился. Пытаясь подавить в себе невесть откуда взявшееся смущение, он по-хозяйски, нарочито развязно, стал рассматривать фотографии.

– О! Баба Маня, а это, наверное, ты в юности? А, баба Маня? Хороша!

– Где? Нет, это моя мама в девках ещё. А я вот с мужем Петей, царствие ему Небесное. Шестой годик, как нет его с нами. – Она перекрестилась. – А это наши с ним детки, Серёжа и Витя, а это они со своими сужеными: Серёженька с Катенькой, а Витя с Любой. А здесь они с детками. – Она засуетилась, ставя на стол.

В комнате было тепло, уютно. И у Василия на сердце стало так же тепло и покойно. Он сидел за столом, хлебал деревянной ложкой борщ, приправленный сметаной, пил водку, закусывая солёными огурцами, помидорами, и думал, что ничего страшного, домой поедет завтра, раненько, с утра.

Баба Маня ушла готовить баньку, а он, сытно наевшись, разомлел от тепла и выпитого, опёрся спиной о стену, задремал.

И снится Василию, будто бы он в новых туфлях, в костюме, при галстукe гуляет по улочкам деревни. Дорога в деревне асфальтирована, а тротуар, что в городе у них на проспекте, плиткой выложен.

Идёт Василий по улице и диву даётся, надо же, как прогресс шагнул. А вот и дом бабы Мани – чистенький, свеже-

окрашенный, и баба Маня сидит на скамеечке с мужем своим Петром и семечки лузгает. Весёлая баба Маня, улыбается.

Глянул Василий через дорогу, а там церковь стоит, вся из мрамора, купола золочёные. Только вот видит, а колокола на звоннице и нет. А он рядом лежит, проржавел весь, плесенью покрылся и наполовину в землю ушёл, а в нём собаки живут, тьяканье оттуда раздаётся.

Очень Василий удивился от увиденного, но больше всего возмутился:

– Вы что, – кричит, – совсем все здесь опупели! Мы с отцом Андреем чуть довели его, а вы вон как! Ещё и собак развели. Эх вы, а ещё люди называются.

Очень обидно Василию стало, так обидно, что слова даже сказать больше не мог. От досады только рукой махнул. Хотел уж было уйти. Только видит, навстречу ему женщина идёт, молодая, красивая. Но серьёзная вся аж, у Василия дух захватило.

– Ты зачем, Василий, шумишь здесь? Ты что нам свой гонор показываешь? Что, ежели городской, так тебе и кричать дозволено? – Смотрит Василий и понять никак не может, кто эта женщина, уж очень она на ту похожа, что на фотографии у бабы Мани.

– А я чё, я ничё. Вот привёз вам колокол, а вы его бросили. Зачем везли? Зачем отец Андрей горбатился, жилы рвал?

– А ты помог его установить?

– Я привёз, в мои обязанности это не входит. Мне деньги

за доставку платят. У вас здесь не дороги... – и осёкся. Асфальт поблёскивал полуденной испариной, дорога уходила вдаль, разрезая своим чёрным телом поля, пролески, горизонт. И Василий ещё больше растерялся. Скрипнула дверь. Он вздрогнул и проснулся.

– Умаялся, сердешный. Ничего, через часик банька будет готова, – баба Маня прошла в другую комнату. – А сейчас иди, вот здесь на кровати полежи, отдохни. Я приготовила.

– Баба Маня, а колокол когда будут разгружать?

– Так сняли уж. На земле. Батюшка наш, отец Андрей, дюже проворный.

– Как сняли? – Василий уставился на бабу Маню. – Он же шесть тонн весит. Краном, что ли?

– Да нет, откуда кран. За ним надо к председателю ехать, просить. А он у нас мужчина занятой, к себе не допускает. Вот с Божьей помощью и сняли.

– С какой такой помощью? – Василий вопросительно уставился на бабу Маню. – Да вы чё, вообще что ли меня за дурака держите. С Божьей помощью, с Божьей помощью.

Он встал, вышел из-за стола, влез в сапоги и, как был раздетый, выбежал на улицу. Возле церкви и подле машины людей не было. Колокол стоял на земле, сзади машины, а у церковной стены лежали деревянные лаги, трубы и верёвки.

Василий поёжился от холодного ветра:

– С Божьей помощью, с Божьей помощью, ну шутник попёнок, ну шутник, – он, задрав голову, посмотрел на серое,

затянутое дождём небо. – А чё я буду ждать до завтра. Сейчас и рвану. Налегке проскочу эти колдобины, а по асфальту к часу ночи и дома буду. – И он представил свою квартиру, жену, ванну.

Зайдя в дом, он с порога закричал:

– Баба Маня, не суетись, я поехал! Отцу Андрею привет, пусть живёт и не чешется. Поехал я, – он стал натягивать на себя куртку. – Всё, баста, я свою миссию выполнил. Домой! Домой!

Баба Маня внимательно посмотрела на него:

– Милок, куда ты на ночь-то глядя. В такую погоду и дорога такая. Чай, обидела тебя чем? Вона и банька готовая. Я и курник в печь посадила. Думала, после баньки как раз к столу. Да и отец Андрей должен подойти, а без батюшкиного благословения как?

– Да нет, баба Маня, не обидела, спасибо за всё. Домой надо. У жены день рождения завтра, а меня нет. Как говорится: в гостях хорошо, но дома лучше. Батюшке поклон от меня.

Баба Маня тяжело опустила руки:

– Ну, как знаешь. Дело молодое, поутру оно, конечно, сподручнее было бы. Вот возьми на дорожку, – она вышла в сени и принесла оттуда трехлитровую банку молока. – Утрешний надой.– Яички, два десятка, деревенские, это не ваши городские, «бролерные». Может быть, картошечки возмёмшь с мешочек, только в погреб надо спуститься.

– Да нет, баба Маня, за молоко и яички спасибо, а картошка, если бы мешок здесь стоял, тогда можно было бы, а лезть в погреб, нет, спасибо.

Василий вышел на крыльцо. Что-то на душе у него сделалось не так, как-то пасмурно. Собачонка лежала возле будки, подняла голову, вильнула хвостом и не тьякнула. Утки, сбившись в кучу, не галдели, а только вертели головами, словно что-то высматривая.

– Ладно, баба Маня, спасибо за угощение и приют, я поехал.

– Да что ты, милоч, это тебе спасибо, – она перекрестила его. – С Богом.

Василий сбежал с крыльца и вышел из ворот. КамАЗ завёлся радостно и даже, как показалось Василию, фырчал более усердно, чем раньше.

– Что, соскучился? Сейчас рванём домой! Ты только не подводи, – он, газанув сизым дымом, тронулся с места. На прощание посигналил и по старой колее направился домой.

Машина шла ходко. Колея, местами наполненная водой, пугала, но КамАЗ буквально проскакивал эти гиблые места и летел, разбрасывая по сторонам ошмётки грязи и фейерверки воды.

Василий на радостях замурлыкал песню. Пять километров он проехал так лихо, что совсем успокоился и стал в уме прикидывать, что если таким темпом ехать, то дома он будет

часов в двенадцать. Это его ещё больше развеселило.

Неожиданно КамАЗ повело, словно передние колеса воткнулись во что-то вязкое и липкое. Он норовисто попытался встать поперёк дороги, но Василий вывернул руль, стараясь таким образом опять попасть колёсами в колею, и тут раздался выстрел. Машина упёрлась правой стороной и нехотя влезла в разбитость дороги. Он заглушил двигатель.

– Только не это! Едрит вашу разъедрит! – Василий грязно выругался. – Надо же, всё так ладно складывалось, и на тебе.

Открыв дверь, он с неохотой спрыгнул в раскисшую землю. Осторожно обойдя машину спереди, убедился в своих самых тяжёлых опасениях. Правое переднее колесо было пробито, как говорят водители, на выстрел.

Продолжая зло ругаться и разговаривать сам с собой в полный голос, Василий залез на кузов, сбросил оттуда запасное колесо, домкрат, лопату. Когда же попытался спрыгнуть с кузова, то на борту поскользнулся, да так неудачно, что полетел на землю вниз головой. И только неестественно извернувшись шмякнулся спиной в грязь.

Удар о землю сбил дыхание. Василий несколько минут лежал осознавая, что же произошло. Кое-как отдышавшись, он с трудом встал на четвереньки. Делать ничего не хотелось, даже ругаться не было ни сил, ни желания. Но оставаться в таком положении желания тоже не было. Он кое-как поднялся на ноги и, опираясь рукой о борт машины, пошёл к злополучному колесу.

Бросив на землю брезент, залез под машину, лопатой растолкал грязь и установил домкрат. От двигателя исходило тепло, хотелось протянуть к нему грязные, озябшие руки, прижаться всем телом, чтобы хоть как-то немного согреться.

Домкрат не хотел поднимать машину. Он влазил в раскисшую землю, и Василию приходилось вновь и вновь вырывать его из образовавшегося углубления, чтобы начать проделывать всё заново. Грязный, мокрый, вконец замерзший и обессиленный он вылез из-под машины с надеждой, что сейчас немного отдохнёт и на этот раз ему удастся поддомкратить колесо.

Ноги и руки у него мелко дрожали от перенапряжения, и он уже был не рад, что затеял поездку на ночь. Солнце спряталось за горизонт, но было ещё достаточно светло. Внутри Василия, под самым сердцем, словно что-то кипело, ударяя в голову болезненными толчками. Злость и ненависть на себя, на дорогу, на машину и на солнце, которое так быстро скрылось за горизонт, выплеснулись, оставив только тлеющую боль в голове.

Открыв дверцу, он достал банку с молоком и, припав к ней дрожащими зубами, захлебываясь и с перерывами дыша, ополовинил её. Молоко текло по подбородку, шее, затекало к самому его пупку, он чувствовал его прохладу, но пить не переставал. И только насытившись полным желудком, остановился передохнуть. Как-то совершенно бездумно, машинально, достал два яйца, ударив о зуб, разбил

одно, зубами разгрыз скорлупу, выпил одним глотком. То же проделал и с другим. Захлопнув дверцу, решительно направился к колесу.

На этот раз работалось споро. Со второй попытки удалось приподнять машину. Лопатой расчистив грязь, подготовил место и, отвернув гайки, покачивая из стороны в сторону, потянул колесо на себя. Помогая себе коленями, он стащил колесо, и в этот самый момент машина медленно сползла с домкрата и словно нехотя съехала в его сторону. Движение было столь неожиданным, что Василий не успел отскочить, и колесо навалилось на ноги, уронило его на спину. Ноги оказались под колесом.

– А-а-а! – крик боли и ужаса разнесся во все стороны, но не откликнулся эхом, а умер в шумящем ветре и начинающем моросить дожде.

Василий лежал на спине, упирался руками в холодную жижу, стараясь из всех сил вырвать, вытащить свои ноги из-под колеса. Но все его попытки были тщетны. Машина, накрываясь, придавила колесо сверху, и никакие его усилия, без посторонней помощи, не могли помочь Василию. Он лихорадочно дергался, извивался, но ноги, зажатые до колен, начали неметь от давления и холода.

– Люди! Люди! Кто-нибудь! По-омо-огите! По-омо-огите-е! – Ему казалось, что его истошный крик стал материалом и никак не может оторваться от губ. И чем явственней он это понимал, тем страшнее и безысходнее видел прибли-

жение своей смерти. Впереди целая ночь, а в этот богом забытый уголок сегодня вряд ли кто поедет.

Засунув замёрзшие руки под мышки, он лёг на спину и лихорадочно соображал, что же ему предпринять. Левая нога уже ничего не чувствовала. Он попробовал шевелить пальцами, пытался хоть как-то двигать ступнёй, но все его усилия были напрасны. С правой же ногой было несколько проще и он полностью переключился на неё. Ухватив руками правую штанину, он тянул её на себя и силился хоть немного вытащить ногу. Нет, всё напрасно. Колесо прихлопнуло, впрессовало ноги в грязь и придавило, не дав никакой возможности ни шевелить ногами, ни вытащить их.

– А-а-а! Су-у-ка-а! Тва-арь! Отдай ноги! Отдай ноги, падла, вонючая! А-а-а! – кричал и дёргался Василий. – И-и-э-э-э! По-мо-огите-е!

Дождь усилился. Его мелкие капли были холодны и нескончаемы. Череда безуспешных попыток, хоть как-то высвободить ноги, измотала его. То ли страх или отчаяние, а может, и то и другое высосали из него силы. Даже руки его уже не слушались.

Стало совсем темно.

Василий, запахнув куртку, сидел сжавшись. Он опять засунул руки под мышки и раскачивался всем корпусом, пытаясь согреться.

– Н-н-а, на-на, н-наа-на-на. Н-на-на-на. – Неожиданно дождь прекратился, и вокруг установилась тишина. Василий

перестал раскачиваться и прислушался.

Где-то далеко-далеко зашумел трактор. Этот звук работающего чужого двигателя всколыхнул или даже взорвал его внутренние, потаённые силы. Он с иступлённой яростью принялся разгребать грязь от ног, он даже повернулся боком и дотянулся, добрался до правого сапога. Скрюченными пальцами он грёб и грёб грязь, совершенно не ощущая ни холода, ни боли. И вот правая нога поддалась, миллиметр за миллиметром она высвобождалась из жестких объятий колеса. Ухватившись за штанину, он напрягся, что было сил, и вырвал ногу из сапога.

– А-а! А ты как думала? Что я тебя здесь оставлю, ты мне самому нужна. – Он подтянул ногу к себе и стал нещадно растирать мокрую, холодную ступню и щиколотку. Ступня была словно деревянная.

– Ну, давай, давай! Отходи! – Василий даже пытался дотянуться до ступни губами, чтобы подышать на неё. Если бы он мог, то непременно бы засунул её себе под мышку. Окончательно устав, он положил ногу на колесо и почувствовал, что без сапога она замерзает.

Теперь упершись правой ногой в покрывку, он предпринял попытку высвободить и левую ногу. Но колесо, словно спохватившись о допущенной оплошности, сжало его ногу, будто зубами, он взвыл от боли.

– Ох! Что же ты делаешь, гадина?

Не то от боли, не то от холода, у него заломило в паху.

Так нестерпимо и безжалостно, что он даже не успел подумать о ширинке и не удержался, пустил струю под себя. Это произвольное напоминание естественности ещё больше повергло его в уныние. Теплота, разлившаяся под ним, только несколько секунд порадовала, так же как и исчезающая тяжесть с низа живота. Василий даже попытался растегнуть штаны и засунуть туда руки, но они его совсем уже не слушали, и он, запахнув полы куртки, засунул их опять под мышки.

И здесь он почувствовал, что холодеет телом. Та горячая влага, ушедшая из него, словно забрала с собой и остатки его внутреннего тепла. Холод легкой изморосью крался по телу. Левая нога, спина и кисти рук перестали существовать, он их не ощущал, вернее, они ему не докучали своим существованием, а ему самому от этого было даже как-то приятно.

Осознав, что замерзает, Василий задёргался и заорал:

– А вот чёрта с два! Врагу не сдаётся наш гордый Варяг, пощады никто не желает! – И завопил: – По-опё-нок! Андрюха! Шандец мне приходит! Господи! Люди! Я жить хочу! Жить хочу! Боже! За что такая смерть?! Господи! – Он вскинул руки и уставился в черноту неба: – Господи, помоги! За что ты так со мной, Господи? Что я такого тебе сделал? А-а-а! – Он в отчаянии рванулся, пытаясь ещё раз высвободиться, и забился в истерике.

Холод легко и невесомо опускался с неба. Он словно множеством языков пробовал на теплоту землю и, распробовав,

нежно окутывал, поглощая собою округу. И там, где он вбирал в себя тепло, оставался иней на деревьях, а лужицы покрывались тонюсенькой льдинкой.

Василию привиделось, что он дома. Жена, нарядно одетая, мелькнула в проёме двери, что-то прошебетала и убежала в кухню. Он же в трусах, с баннным полотенцем на плече зашёл в ванную и потрогал рукою набирающуюся воду. Вода была горячая, он, сняв трусы, медленно полез в неё, сначала одной ногой, затем другой и вот весь погрузился в чистую, отдающую голубизной, воду. Охватившее блаженство словно растворило его в воде. Ему не хотелось шевелиться, да не то что шевелиться или поднять руку, ему не хотелось даже думать.

Где-то сквозь навалившийся на него сон, ему послышались чавкающие по грязи шаги. Луч фонарика скользнул по глазам его, по машине, и человек нагнулся к лицу Василия.

– Эх, Василий, Василий, да как же это тебя так угораздило? Говорил же, утром поедешь. А сам вот как. Господи, смилуйся над нами, помоги нам.

Василий с усилием разомкнул свои веки. Ему не хотелось выходить из блаженства, но знакомый голос заставил очнуться и посмотреть. В бледном свете фонаря он увидел человека в рясе, работающего лопатой. Тот с усилием убирал грязь возле колеса, там, где была его нога. Он сопел от натуги, и с каждым его движением Василий чувствовал, что в него

возвращается надежда жить. Вот сделано последнее усилие лопатой и нога освобождена. Человек, тяжело дыша, подошел к Василию и опустился перед ним на колени.

– Ну, как ты, Василий? Цел?

– Отец Андрей, батю-ш-ка. Это ты? – Василий едва шевелил языком.

– Я, я, а кто же ещё. Ты позвал, я и пришёл.

– А как же ты услышал? А?

Отец Андрей улыбнулся:

– Уж больно ты Бога просил. А он мне и подсказал. Слава тебе, Господи! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. – Он перекрестился.

– Хватит, хватит нам здесь вылёживаться, совсем, смотрю, заоченел. – Он подхватил Василия на руки и понёс к машине. Открыл дверцу и усадил Василия на пассажирское сиденье. Сам же обошёл машину, сел на место водителя, завёл двигатель.

Василий в недоумении смотрел на священника и никак не мог понять: наяву ли это или же всё происходящее сон.

– Да ты не удивляйся, Василий. Я ведь не всегда был священником. В миру я был офицер, танкист. Только Господь распорядился, и я стал священником. Слава тебе, Господи, надоумил блудного сына своего.

– Батюшка, отец Андрей, да ты какой-то не такой. – Василий всматривался и всматривался и удивлялся переменам, произошедшим с отцом Андреем.

– Такой я, Василий, такой, – он включил печку. – Ты посиди, погрейся, а я сейчас колесо поставлю, и ты поедешь.

– Да как же ты, батюшка? Я не сумел, а ты? Давай я сейчас немного отогреюсь, и мы вместе. – Василий попытался подняться.

На что отец Андрей рассмеялся, улыбнувшись белозубой улыбкой:

– Да полно тебе, Вася, я управлюсь и без тебя. Сиди, грейся, тебе ещё ехать да ехать. – И вышел, захлопнув дверцу.

Мотор работал ровно, монотонно гудела печка, загоня горячий воздух в кабину. Василий заснул.

Проснулся он от того, что ему захотелось пить. Он открыл глаза и увидел, что рядом с ним сидит отец Андрей и смотрит на него.

– Немного поспал? Вот и хорошо. Садись на своё место и езжай домой. Обрато в деревню я тебя не зову. Нельзя. Дома тебя ждёт жена с хорошей вестью. Так что, поспешай. С Богом! – Он перекрестил Василия и вышел.

Василий перелез на водительское сиденье, открыл дверцу:

– Отец Андрей, а как же колесо и как ты?

На что тот оглянулся и долго смотрел на Василия:

– Василий, старое колесо, домкрат, лопата в кузове, а домой я добегу, не переживай. Езжай с Богом. – Повернувшись, медленно побрёл вдоль дороги.

Только сейчас Василий обратил внимание на то, что ночь развиднелась, дорогу и лес, стоявший вокруг, было видно.

Он газанул, посигналил, как тогда, уезжая из деревни, глянул в боковое зеркало, чтоб последний раз посмотреть на отца Андрея, но того уже не было видно. И тронулся в путь.

Когда он выезжал на большак, по нему мела позёмка. Белые её ленты перехлёстывали дорогу и растворялись, чтобы возникнуть вновь уже в другом месте. По шоссе он проехал километров сто как в каком-то забытии. С левой от него стороны появился населённый пункт, он увидел церковь и сбавил скорость. И вдруг тугой, пронизывающий звук ударил в уши, тело, сердце. Он словно окатил его с головы до ног горячей волной. Заставил замереть в недоумении, задавшись вопросом: «Что это было?» Через мгновение: «Бо-о-м-м-м!» всколыхнуло его сердце.

«Как же это я? Как же? – Василий остановил машину, волна невыносимого стыда обожгла сердце. – Господи, я даже не сказал отцу Андрею спасибо за то, что он спас мне жизнь».

– Господи, ну почему же я такой? – Он открыл дверь и спрыгнул на асфальт.

Повернувшись всем телом в ту сторону, откуда доносился звук колокола, он запричитал:

– Господи, спасибо тебе за то, что ты не дал мне умереть! Господи, спасибо тебе, что ты услышал меня! Господи... – И здесь он увидел свои руки, они были грязны и опухли. На том месте, где были ногти, сочилась сукровица. И сам он грязный, стоящий на дороге в одних носках, наверное, вы-

глядел нелепо и нереально, ровно так же, как то событие, что с ним случилось.

Осознав всё это, Василий заплакал и упал на колени, говоря только одно:

– Господи, спасибо тебе и прости меня. Господи, спасибо тебе и прости меня.

Многое Василий не знал, да и не должен был знать. Не дано простым смертным ведать о промысле Божьем.

Не знал Василий, что отца Андрея уже не было в живых, при разгрузке колокола надорвался он и умер через четыре часа. Ровно тогда, когда Василию колесом придавило ноги.

Не знал Василий, что по приезде домой жена объявит ему потрясающую новость, что она беременна. Через восемь месяцев у них народится мальчик, его окрестят и нарекут Андреем.

Не знал Василий, что через три года вернётся он в забытую людьми деревню и баба Маня расскажет ему обо всём случившемся. И придёт он на могилку отца Андрея, что будет рядом с церковью у неустановленного колокола, и после небольших колебаний останется жить в деревне. И станет священником.

Не знал Василий и того, что проживёт он непростую жизнь, что у него здесь ещё народятся пятеро детей и что церковь он восстановит.

А в тот день, когда ударят в колокол и его звук коснётся земли и неба, соединяя их, спадёт пелена с округи. Ста-

рой и ненужной шелухой облетит серость человеческого бытия и новый народившийся мир удивит людей своей чистотой и радостью. И с той поры, как кто услышит голос колокола, то, замирая, крестится и говорит: «Батюшка Андрей вещает! Царствие ему Небесное!»

Ничего этого не знал и не ведал стоящий подле своей машины плачущий маленький человек, только что осознавший, что он выжил.

Потому как, пути Господни неисповедимы.

### *Дедовский способ*

*Посвящается моему отцу*

*Борисову Владимиру Трофимовичу.*

*Удивительный был рассказчик.*

Они и сейчас живут на той же улице, дома у них почти напротив: татарин Тагир абы и русский дядя Миша.

Соседи уважают друг друга. Проходя мимо, почтённо здороваются: «Здравствуй, Михаил», – говорит Тагир. – «Исэн-месез, Тагир», – отвечает Михаил. – Иногда садятся на доброту сделанную скамью, что надёжно вкопана подле высокого, дощатого забора Михаила, курят, степенно разговаривая.

Давно это было, лет так двадцать назад.

У Тагира рос сын, семнадцатилетний Анвар. Парень был ладный, высокий, стройный. Тёмный пушок усов, мужественность черных глаз притягивали девичьи взгляды.

– Ай! Батыр растёт, – с гордостью говорил отец, глядя на сына, и от удовольствия цокал языком.

У Михаила росла дочь, шестнадцатилетняя Татьяна. Золотая коса, озорные глаза плескались голубизной под дугами темных бровей и уже начали сводить с ума не только парней с их улицы. Глядя на дочь, отец восхищенно восклицал:

– Красавица растёт, ох, чьи-то сердца наплачутся.

Но стали наши соседи примечать, что дети их, по-видимому, не равнодушны друг к другу.

– Что будем делать, Тагир? Рано нашим детям в эти игры играть. Танька-то моя, пустышка ещё... егоза, одним словом, – затянувшись дымом, спросил Михаил.

– Да-а. Нас они не спрашивают. Дело молодое, глупое... Не головой думают... сердцем. – Тагир размял сигарету. И как-то искоса посмотрев на Михаила, опустил глаза. – Может, беседу проведем? Да и сам понимаешь, – и словно решившись, внимательно посмотрел на Михаила, – она ведь у тебя крещённая... мы и веры разной... Как это всё будет?

Михаил крикнул от удовольствия, мысленно поблагодарив соседа, что он помог коснуться этой, непростой для них, темы.

– Тагир, мы с тобой, конечно, не Монтека с Капулетой, нам посложнее... А у них... вся жизнь впереди. Сейчас по сопливости наломают дров... нам потом с тобой разгрести придётся.

Они долго курили и долго неторопливо беседовали. Под

конец решили, что беседы с молодежью проводить просто необходимо. А то, как бы чего... не вышло.

С этого дня для молодых людей начались испытания. Если Анвар после жестких разъяснений отца уходил с горящим взглядом в дальний угол двора, то Танька размахивала перед лицом отца руками, топала ногами, доказывая свою правоту.

Шли дни, недели. Как бы там ни было, но молодые люди умудрялись встречаться украдкой, тайком. Что ещё больше распаляло их чувства.

– Что будем делать, Михаил? Мой Анвар совсем голову потерял от твоей дочери... Голодовку чупряк<sup>1</sup> объявил... не ест ничего, молчит. Говорить не хочет. Гордый. – Он нервно курил, тяжело вздыхая.

– Да и у меня не лучше. – Михаил сплюнул. – Хреновые мы с тобой политработники. Думал, выпороть как следует... не-ет, возраст уже не тот. Девица. Да и жалко... своё ведь. – Михаил, хлопнув ладонями, выбил из мундштука окурочок. Достал спичку и начал его очищать. Через несколько секунд продолжил: – Есть один дедовский способ, как нашим молодым помочь. Мне как-то отец рассказывал, этим способом его деда от цыганки отучили. – Поднёс мундштук к губам, резко дунул. Продув, аккуратно вложил в пачку с сигаретами и спрятал в карман. Испытывающе посмотрел на Тагира:

– Присылай своего Анварчика на ночь ко мне. Пусть у нас переночует.

---

<sup>1</sup> Чупряк – тряпка (татарский)

Тагир настороженно окинул взглядом Михаила:

– А что это за способ такой, дедовский? Не смертельный?

Не колдовской? А то испортишь парня.

– Не-ет. Ничего страшного. Но способ верный. Он даже в какой-то мере полезительный для здоровья. Я так понимаю, что помнить друг о друге они до конца жизни будут, этого у них не отнять. А вот... любить, – он усмехнулся, – не-ет. Присылай сына, Тагир. Лечить детей наших будем...

– Михаил, что за способ? Объясни.

Михаил встал:

– Ты, Тагир, сегодня вечером присылай сына, а завтра утром он тебе и расскажет. Во всех подробностях. – Сам же заулыбался щербатым ртом. – А если почему-то не расскажет, я расскажу. Так тому и быть.

Вечером, борясь со смущением, зашел Анвар.

– Дядя Миша, здравствуйте. Отец вот... прислал, сказал к вам прийти... что вы знаете.

– А, Анварчик! Заходи, заходи, дорогой. Проходи. Мы как раз с Танькой вечерять собрались, присаживайся к столу. – Михаил вышел навстречу. Ласково похлопывая по спине рукой, пригласил Анвара за стол.

Анвар, робея, сел на краешек стула.

– Танька, геть сюда! Ты что там, в юбках запуталась? Видишь, дорогой гость к нам пожаловал. Живо накрывай на стол. – Сам сел, откинувшись на спинку стула. – Мать-то у нас попозже придет, у Анатолия, старшего сына, задер-

жится. Ну-у, рассказывай, как твои успехи в жизни?

Анвар ещё больше смутился:

– Пока нет... успехов... никаких.

– Ну и ну, как же нет? – Михаил крякнул, ухмыльнувшись, заерзал на стуле. – Так и никаких? Ходить-то научился?

Анвар едва кивнул головой.

– Говорить научился?

Анвар опять кивнул головой, улыбка смущения потихоньку стала сходить с лица.

– Писать? Читать? Ешь без посторонней помощи?.. А говоришь, успехов нет в жизни. Нет, Анвар, успехи они всегда есть, но есть малю-юсенькие, их даже вроде и не видно, но они очень важны для человека. Есть же такие, что про них и говорить не следует, они сами за себя говорят.

В это время вокруг них засуетилась Татьяна, накрывая на стол. Она ловко и проворно расставляла тарелки, чашки, то и дело стреляя в сторону Анвара озорным и веселым взглядом.

«Ах ты, шельма, – подумал Михаил, глядя на дочь, сердце у него ехидно подпрыгнуло. – Я посмотрю, как ты завтра постреляешь, егоза». Отметив про себя, как же его дочь красива. Да-а, красавица дочь – двойная забота родителям.

Прежде чем приступить к трапезе, Михаил прочел молитву и несколько раз перекрестился. Ели молча. Как ни пытался Михаил разговорить Анвара, тот отвечал кивком головы или односложно «да», «нет». Танька же сидела насупившись,

всю её резвость как рукой сняло.

Михаил стал волноваться: уж не догадывается ли о чем?

– Что будем пить? – Танька вопросительно посмотрела на отца, на Анвара. – Чай? Компот? Или парного молока ждете? – И кокетливо повела плечами.

– Я те щас пожелаю, егоза, – Михаил остановил дочь и обратился к Анвару:

– У нас, у русских, в давние, древние времена был напиток, назывался он сыто. Рецепт изготовления этого чудесного питья мне достался аж от прадеда. Его пили, когда наедались, и выражение «наестся до сыта» говорило, что пришло время пить сыто. —

Он вышел из-за стола, достал из холодильника трехлитровую банку, больше чем наполовину наполненную светло-желтой жидкостью.

– Так вот это самое сыто, настоящее на меду с различными травами, когда доставалось из погреба, да в глиняной вспотевшей крынке... о-о-о! Это было как в сказке... и я там был, мед, пиво пил. Да вы и сами сейчас оцените.

Молодые люди заинтригованно переглянулись. Танька удивленно посмотрела на отца:

– Ой, как интересно. Пап, а ты про сыто никогда не рассказывал и в погребе я никакого настоя не видела.

– О, доченька, я тебе ещё многое не рассказывал, случая как-то не выпадало, – он обошел её и налил в бокал. Жид-

кость в бокале заискрилась, пахнуло манящим терпким запахом. Подойдя к Анвару, он краем глаза увидел, как дочь пригубила бокал раз, затем другой.

– Пап, пап, здесь мёд, травы, и что-то ещё есть?

– Есть, дочка, есть, там много чего есть, – Михаил налил Анвару, себе. – В этом напитке собранно все то, что способствует лучшему пищеварению, по русскому старинному обычаю. Наши предки знали толк в таких вещах.

Сыто выпили по два бокала. Прохладный, душистый напиток бодрил и даже слегка кружил голову.

Немного поболтав, вышли из-за стола.

– Анвар, у тебя отец новую баньку срубил? – Михаил достал мундштук, размял сигарету. – Я вот тоже вчера закончил. Пойдем, посмотришь, оценишь, чья баня лучше.

Анвар в недоумении пожал плечами:

– Зачем, дядя Миша?

– Пойдем, пойдём. Сам скоро хозяином будешь, – по лицу едва заметно скользнула усмешка.

Вышли во двор. Темнело. Солнце уже зашло, но на улице было ещё достаточно светло. Возле бани остановились. Михаил вставил в мундштук сигарету, закурил:

– Куда будешь поступать учиться?

Анвар тяжело вздохнул:

– Не знаю ещё, или в военное училище пойду, или в КАИ. Наверное, все же в КАИ.

– Учиться, Анварчик, надо. – Михаил несколько раз за-

тянулся. – Как без образования? Танька вот в медицинский институт собралась, но одно дело собираться, а другое готовиться и поступить. Го-то-виться надо, Анвар, а не дурака валять. А тут по вечерам домой палкой не загонишь и где только черти носят? – Михаил заметил, как потемнело лицо у Анвара. И вновь загадочная усмешка скользнула по его губам. Он последний раз затянулся, на ладони затушил окурок и бросил его в грязное ведро с водой.

– Ну, ладно, с Богом! – Хитро улыбнулся: – Как в народе говорят, всё что ни делается, делается к лучшему. – Громко позвал:

– Танька! Геть сюда, – и едва слышно, – егоза.

Танька словно ждала и мигом появилась в накинутаой на плечи кофточке. Михаил окинул её пристальным взглядом:

– Веди Анварчика за мной, баню смотреть будем.

– Вот ещё. Ты че, па, сам не можешь показать? Я вам что, провожатая? – Но отец так посмотрел, что дочь осеклась.

– Иди вперед, лахудра, я свет включу.

Молодые люди пошли вперед, непонимающе посматривая друг на друга. Когда они, миновав предбанник, зашли в полутьму бани, Михаил включил свет и спросил:

– Ну, как?

Анвар с интересом знатока похлопал обшивочную доску:

– Доска липа?

– Да-а, шпунтовка, липа, а потолок с полоком из дуба.

На века. Внуки своих внуков парить будут. – Михаил с удовольствием щелкнул пальцами: – А ты голыши, голыши посмотри, один к одному подбирал. А запах, какой запах, а? Благодать.

И пока Анвар с Танькой вдыхали ароматы и разглядывали голыши, Михаил вышел, плотно закрыв за собой дверь и подперев её заранее приготовленной доской. Предбанник он для верности закрыл на замок. С секунду подумал и оставил свет в бане включенным. Закурил и, тяжело ступая, вышел со двора на улицу.

Жену он встретил уже в темноте, сидя на скамье у ворот. До её прихода он трижды срывался с места и, чертыхаясь, сломя голову, бежал в туалет. Всякий раз с ужасом ощущая, что не добежит, что ещё мгновение и... не донесёт, но обходилось. В туалете сам процесс происходил с таким шумом и неуправляемостью, что Михаил побрякивал в недоумении: «Вот же дьявольщина и откуда только всё берётся? Вулкан, что ли, в животе пробудился? Не улететь бы», – и с опаской посматривал на потолок туалета.

Жена устало спросила, где Танька и почему распахнута калитка? Михаил ответил, что Танька ночевать будет у подружки соседки, а калитка? Да черт бы с ней с калиткой... открыта, закрыта... он же рядом.

– Миша, пойдем в дом, прохладно что-то, да и поздно уже, – жена поёжилась.

Михаила тоже слегка знобило, но не от холода. Он как-то

криво ей улыбнулся и неуверенно вымолвил:

– Ты мать, иди, иди, я сейчас... с полчасика подышу воздухом и приду.

Через дорогу в доме, что почти напротив, горел свет. Там не спали. Когда Михаил зашёл в дом, жена хлопотала у газовой плиты.

– Чай пить будешь?

– Да, покрепче, и, мать, у нас что-нибудь от живота есть?

– Что случилось? – жена сочувственно посмотрела на Михаила.

– Не знаю, мать, что-то несёт меня без остановки, что-то съел, наверное, – говорить ему не хотелось.

Молча попили чай. Михаил выпил крутой травяной отвар. И здесь жена, словно невзначай, спросила:

– Миша, а что там за медовый морс у нас в холодильнике?

Михаила словно окатили кипятком. Он, заикаясь, едва выдавил:

– М-м, м-ма, мать, а т-ты... пила этот морс?

– Да, а, собственно, что? – жена вопросительно посмотрела, – не нужно было?

– Нет, ничего, – Михаилу сделалось совсем дурно и так неважно, что он рванул с места, семена ногами и на ходу расстегивая штаны.

Ночью они в туалет бегали по очереди.

Жена, всякий раз соскакивая с постели, причитала:

– Господи, да что же это за наказание, да за какие грехи?

Когда очередь доходила до Михаила, она говорила:

– Мишка, ирод, сознайся, какого яду подсыпал в морс?

На что тот в изнеможении отвечал:

– Да ничего, мать, не сыпал, ничего. Это рецепт такой.

Старинный. Что б ему... Видишь, сам маюсь.

Как только забрезжил рассвет, Михаил с волнением подошел к бане. Он уже был не рад, что затеял это дело. Конечно, надо было по-другому. А сейчас? Сейчас будет финал.

Он несколько минут стоял, прислонившись к двери, прислушивался, не решаясь открывать дверь. Но открывать было нужно. С дрожью в сердце, щелкнув замком, отворил дверь предбанника. Доска также подпирала дверь бани. Михаил осторожно убрал её в сторону и тихонько потянул на себя ручку. Дверь легонько подалась и, жалобно заскрипев, отворилась. Света в бане не было.

В это время что-то мощное, толкнув Михаила в грудь, отбросило от двери и вихрем пронеслось мимо. Анвар не искал калитки, он перемахнул через забор.

– Танюша, доченька, ты где? – Михаил щурился, вглядываясь в темноту бани. Зажег спичку. Толстенный плафон был разбит, часть трубы разворочена, голыши разбросаны по полу.

И здесь он разглядел дочь.

– Папка, папка, что же ты наделал, – она всхлипывала всем телом. – Зачем же ты так? Папка...

Он взял её на руки. Она оказалась неожиданно легкой,

словно былиночка, подумалось ему. И понёс на улицу, проклиная себя, глотая подкравшиеся к горлу слёзы.

Тагир подошёл только к вечеру.

– Послушай, я всю ночь не спал, волновался, хотел к тебе прийти.

Михаил молча курил.

– Ты собираешься рассказать, что сказал Анвару? И где он всю ночь был? Прибежал как угорелый. Собрал вещи, книги и уехал к моему брату. Сказал, готовиться к экзаменам будет. До этого я ему целый месяц талдычил: «Поезжай к Анас абы», а он ни в какую... А тут уехал... сам. Ты что ему сказал? Ну ты, Михаил, педагог. Ну ты Макаренко.

– Н-нда-а. – Михаил хмуро посмотрел на Тагира. – Хреновый я Макаренко, оба мы с тобой в педагоги не годимся. – И вдруг словно встрепенулся:

– Значит, хочешь, чтобы я тебе рассказал? Опыт перенять хочешь? Или любопытство съедает? Какое такое я твоему сыну волшебное слово сказал, да? Ну, слушай... Я сейчас... Чтоб веселей... чтоб доходчивей. Я расскажу.

Он сходил в дом, вынес пивную кружку, до краев наполненную янтарной жидкостью.

– Держи. – Тагир с интересом взял кружку. – Отведай, да не бойся. Мы же с тобой не какие-то там Монтеки с Капулетами, не отравленное. Пей.

Тагир сделал два глотка:

– Хм... А ничего напиток-то, ядрён, – и приложился дол-

го, больше половины кружки.

– Что, значит, ничего? Обижаешь, сосед. Это, если можно так выразиться, «наследие предков», будь оно неладно. А ты – «ничего». – Михаил театрально развел руками. И с непонятной для Тагира злостью продолжил:

– Так вот я и говорю, Монтека с Капулетой, эти два раздолбая детей своих загубили, а я вот не знаю, во что моя глупость выйдет.

– Какая такая глупость? – Тагир допил содержимое кружки и поставил её на скамью. Не торопясь закурил. – Что с тобой, Михаил? Небритый и глаза красные, не выспался? Темнишь, крутишь. А ну, давай рассказывай.

– Не темню я, чего мне темнить, да и крутить резона нет... Я только говорю, что мы с тобой два старых болвана, два осла, два олуха царя небесного...

Тагир дважды глубоко затаился и напряженно прислушался. Было видно, что он Михаила не слушает, а всё его внимание сосредоточено на чем-то другом. Он с беспокойством посмотрел в сторону своего дома.

– Знаешь, Михаил, я, наверное, пойду. – Он как-то судорожно затушил окурочек. – Вспомнил, кое-что по дому ещё не сделал. Надо за светло успеть...

– Дела. За светло успеть, – передразнил его Михаил. – То просишь рассказать про заветное слово, а то срываешься с места, что конь не объезженный. Сначала до стойла добежать надо. – Михаил взял кружку и заглянул в неё. – Вот ты

сам мне завтра и расскажешь, про заветное слово. Если, конечно, захочешь...

– Что расскажешь? – Тагир выровнял спину. – Что-то совсем не пойму я тебя...

– Да ты не выпячивай грудь, сосед, что тот петух. Не выпячивай. Не поможет. Верный способ, дедовский. – Михаил махнул рукой. – Теперь никакая философия не поможет. Теперь в нашем деле главное скорость, но и шибко широко не шагать, а то того...

– Что того? – Тагир в беспокойстве встал и в нерешительности затоптался на месте, то поглядывая в сторону дома, то на калитку Михаила.

Михаил смотрел на Тагира с нескрываемым интересом:

– Ну, коль собрался, так иди, если не можешь полчаса беседе уделить. Не поймешь тебя... Какой-то ты странный сегодня, хотя и бритый.

– Ладно, пошёл я, – Тагир крупно зашагал в сторону дома. Где-то на середине пути он как-то нехорошо, неестественно побежал, словно что-то бережно неся и боясь уронить. В десяти метрах от дома неожиданно остановился в странной позе с растопыренными ногами. Несколько секунд стоял, словно, соображая, что же произошло. Повернулся и погрозил Михаилу кулаком.

– Завтра, завтра приходи, – прокричал ему на это Михаил. – Завтра и расскажешь. Знать хорошо пробило... верный способ.

На душе у него было пусто и гадостно. Он посидел с минуту тупо уставившись в землю. Затем тяжело встал, взял пивную кружку и вдруг со страшной силой ахнул её об мощеную дорожку так, что стекло разлетелось, засверкав разноцветным бисером.

У Анвара и Татьяны сложилась у каждого своя жизнь. Они выучились, получили образование, завели семьи, детей. И разъехались кто куда.

Лишь однажды судьба свела их после того случая. Встретившись случайно, они, что два пылающих факела, пронеслись мимо. Так свежи были воспоминания той банной ночи.

Михаил и Тагир состарились. Иногда, как прежде, сидят на скамейке, покуривая. Но про дедовский способ не вспоминают. Да и зачем.

## *Индульгенция*

*«...яко несть человек, иже жив будет и не согрешит».*

– Ну что за народ, придурки и только... как зима, так траншеи копать. Лета им, видите ли, мало, – охранник Фролов ввалился в сторожку, затащив за собой морозный воздух и валенки, облепленные снегом. Только что он, подскользнувшись, едва не упал в свежерытую траншею, на дне которой чернели две трубы. – Надо же, а... Чуть глубину ямы не измерил. Аж пот прошиб от страха. Ноги, прям, ватные

стали.

– А чё тебе бояться, хрен старый, ты своё пожил. Небось, дерьма достаточно развёз по белому свету? – Навстречу ему поднялся его напарник Никонов.

– Да ты сам смотри, туда не свались, мамука белобрысая.

– Дверь закрой, не май месяц.

– Да и я про то же, – Фролов прикрыл дверь и, кряхтя, стал очищать валенки от снега.

– Летом что делали? Небось, лапу сосали. А здесь разворошили землю, парит родимая, словно дышит... Мороз вон тридцать пять... Ладно бы котлован там, яму, а здесь вдоль всего забора, метров сто. Как людям ходить? Того и гляди на дне окажешься и не выберешься... Башку точно сломаешь.

– Ну-ну, тебя не спросили... Можно ли нам, господин Фролов, с-сдес-ся ямку копнуть, али в другом месте прикажете... Сам вон снег притащил, а мог и в коридоре с валенок стряхнуть. Так ведь нет, заволокся как был. А туда же, критиковать... Собакам что-нибудь принёс или опять их на подножный корм пустишь? Летом ладно, зима на улице, глаза разуй... ба-арин.

– Да ладно тебе гундеть, что баба та сварливая. С тобой ведь ни о чем нельзя поговорить, всё у тебя против. Принёс, принёс. Целый пакет костей Люська наложила, холодец варила, – Фролов в досаде бросил веник к печурке. – Давай лучше сменный журнал, да и чай вскипятил, а то, небось,

и воды-то нет? Ты ведь только на готовенькое любишь.

– А ты не любишь? Дрова в свою смену спалил? Спалил! А заготовливать кто будет за тебя? Пушкин, что ли? Или Алексей Максимыч?

– Какой Алексей Максимыч? – Фролов снял полушубок и, кряхтя, повесил на вешалку.

– Какой такой? А тот, которым Горький называется, или я за тебя колоть их должен? – Никонов поправил очки. – Вот, Фролов, сколько я тебя помню и знаю, ты как был турбулентен, так им и остался. А ещё на барина откликаешься.

– Чё, – Фролов скосил на него глаза, – какой я?

– Турбулентный, – Никонов усмехнулся чему-то своему. – То есть ветреный и не серьёзный. На тебя ведь ни в чём нельзя положиться. – Он переложил книгу из одной руки в другую и стал легонько ею стучать по ладони.

– Снег не убираешь, а если начал убирать, то сломал лопату. Вот за всё, что ты ни берёшься, всё получается, как в том анекдоте... через проход, задний. И вся твоя видимая серьёзность и важность есть сплошная курьёзность. – Никонов вопросительно посмотрел на Фролова:

– Вот скажи, какого ты чёрта припёрся за четыре часа до принятия смены, а? Тебе что, дома делать нечего или Люська из дому гонит? Или ты думаешь, что мне на тебя приятно смотреть? Ты ведь надоел мне, своими бестолковыми разговорами, как та горькая редька. Глаза бы мои на тебя не смотрели...

– Да не кипятись ты, – Фролов ощерился своими вставленными металлическими зубами. – Завтра, как-никак, а наш праздник... День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Аль запомятовал, мамука белобрысая. А я того... и белоголовую прихватил. На халявку-то оно, как... и укус сладкий, а?

От услышанного Никонов расплылся в слащавой улыбке:

– Фролов, дорогой ты мой человек, неужто сподобился, иль на тебя божья благодать снизошла, что ты свою скоромную денежку потратил на этот чертовски благородный напиток? – Он бросил книгу на стол, снял очки и, сильно прищурившись, стал рассматривать Фролова.

– А я ведь сегодня весь день одним местом чуял, что что-то зудит в нём, но это, наверное, думал, к перемене погоды, ан нет, это оказалось к выпивке. У меня и баночка с огурчиками по такому случаю припасена. Ай да Фролов! Ай да мерин облезлый, надо же так подгадать, – и он кинулся доставать банку с огурцами и ещё что-то.

Фролов поставил авоську на стол, вытащил из неё бутылку водки, шмат сала, завёрнутый в газету, и ещё какие-то свёртки.

Никонов тоже засуетился и по всем его действиям, жестам чувствовалось, что подготовка в выпивке доставляет ему превеликое удовольствие.

Был он небольшого роста, суховат и с редкими седыми волосами на голове. Его взгляд с хитринкой таил в себе желчь,

если не скажем больше, ненависть. Смотри на собеседника, он словно сверлил его своим взглядом, как бы говорил: «Вижу я тебя, голубь сизый, насквозь, что бы ты здесь мне ни заливал». Часто говоривший с ним неожиданно спотыкался в своей речи под таким взглядом и старался прекратить разговор. Ему такие моменты доставляли удовольствие.

И был Никонов окаянный бабник. Дожив до шестидесяти пяти лет, он так и не обзавёлся семьёй. В разговорах, если дело касалось детей, он ехидно улыбался и говорил:

– А у меня почитай в каждой области и республике Союза дитё есть, – и хихикал как-то в грудь, словно захлёбывался от восторга. – Иные отцы и не знают, чьё дитё воспитывают, а оно моё. – И сейчас он был готов в любой момент охмурить иную молодуху и подмять её под себя. Вот так и жил, в удовольствии себе: ни о чём не задумываясь и не жалея.

Фролов был совершенно другим и по внешнему виду, и по душевным качествам. Высок ростом, некогда красив лицом, прямой греческий нос и крупные чувствительные губы, а также густая шевелюра и осанка, благородная, важная. В юности его, кто в шутку, а кто и всерьёз, звали Боярин. На что Никонов язвил: «Ты, Фролов, не князь, а ходишь, что кровей благородных. Не по рангу дадена тебе вальяжность, ошиблись на небесах. Это у тебя от дворецких досталось, или дедушка швейцаром был в каком-то ресторане или заведении». Фролов, улыбаясь, отмалчивался или говорил безобидно: «Мамука белобрысая, ты и есть мамука».

Жизнь, то ли судьба зачем-то свела их вместе, по молодости жили они в одном доме, работали на одном заводе, но Никонов уехал искать лучшей доли, на какое-то время попал в тюрьму и переехал на родину только перед самой пенсией.

Фролов тоже временами отрывался от родного дома в поисках длинного рубля, но вернувшись последний раз с лесоповала резюмировал жене: «Чем длиннее рубль, тем короче жизнь», – и больше из города ни ногой.

И вот, прожив жизнь, они доживали её, два охранника-пенсионера сторожили завод, а можно сказать, то, что от него осталось. Вспоминали молодость, иногда поругивались, но какая-то непонятная сила влекла их друг к другу.

Некогда завод железобетонных изделий своими достижениями гремел по всей округе и за него завязалась борьба местных предприимчивых людей. В результате завод был обанкрочен, люди разбрелись в поисках лучшей доли, но поскольку его ещё не до конца растащили, то была поставлена охрана.

Дежурили они сутками в количестве четырёх человек, зарплату получали мизерную, зато вовремя и без всяких бумажек. Хозяева менялись чуть ли не каждые три-четыре месяца, а этот последний хорёк, как называл его Никонов, зацепился крепко и обещал по весне запустить производство.

Территория завода была небольшой, для её обхода вполне хватало и двадцати минут. Работа не пыльная, не тяжелая,

как раз для пенсионеров.

Стол для торжества собрали отменный, Никонов любил такие минуты ожидания застолья, или как он говорил «минуты душевного безмолвия». У него всегда в таких случаях поднималось настроение, глаза теплели и он становился неудержим в своём словоблудии.

Опустившись на корточки перед печкой, он открыл дверцу и закинул в жаркое её нутро несколько совков угля. И здесь его хитрый глаз уловил, как Фролов, вынув что-то из кармана полушубка, сунул в свой валенок.

– Это что вы, милейший, изволили от меня прятать? Нехорошо, ой, нехорошо. – Он с нескрываемым любопытством подошел к валенкам Фролова, которые стояли под повешенным полушубком. Они всегда, когда приходили на смену, в сторожке валенки снимали, и только выходя с проверкой территории, надевали их. И словно та сорока, или же изображая её, заглянул внутрь валенка.

– Да ничего особенного, – Фролов с досады хлопнул себя по ляжкам. – Ну, востёр же ты, Никонов. Ну, как увидел, спиной же сидел?

– А я срамным местом выпивку за сто шагов чую. Доставай, доставай, что, заныкать от лучшего друга надумал. – И видя как Фролов извлекает из валенка фляжку, не нарочито сглотнул слюну. Глаза его расширились:

– Чтобы мне околеть на этом самом месте, спирт? Он роденький? – Фролов обречённо мотнул головой: – Да, техни-

ческий.

– Прощаю, Фролов, я тебе прощаю всё: и сломанную лопату, и неубранный снег, и дрова, которые ты спалил, и всё и вся, и присно и во веки веков. Аминь. За стол. За стол. Праздник не имеет привычки ждать, он приходит и уходит. Это только мы остаёмся. И чем раньше мы сядем за стол, тем дольше мы с ним. А беленькую убери, убери, не её сегодня день. Она на сладкое. – Он принялся разливать из фляжки:

– Надо же, пол-литра чистейшего «шила» хотел заныкать... а? Ещё друг называется. Фролов, я махну неразбавленный, а ты как?

На что Фролов грустно ответил:

– Нет, я так не могу. У меня потом дня три горло першит. Я разбавлю. – Он взял стакан со спиртом, налил воды и почувствовал, как стакан в руках потеплел, и увидел, как в нём закрутились водяные вихри.

– Нет, ты посмотри, какая реакция? – Он показал стакан Никонову. – А в желудке как?

Никонов усмехнулся:

– Как? Как? А вот так, – и выпил налитое одним духом. Зажмурился, задержал дыхание и выдохнул: – Хо-ро-шо!

Фролов пил долго. Часть спирта текла у него по подбородку и капала на рубаху. Так и не допив до конца, он поставил стакан, замотал головой и быстро задышал:

– Недоразбавил. Крепкий чёрт, – и полез за огурцом.

Печка дышала жаром. Её верхняя, чугунная, часть раска-

лилась до красна, и в сторожке стало душно.

Они опорожнили больше половины фляги и уже крепко захмелели. В разговоре Никонов оседлал своего любимого конька, женскую тему. Он смотрел на Фролова пьяными глазами, в которых уже не было ни злости, ни хитрости, ни чего-либо ещё, а была одна лишь только пьяность. А навстречу ему смотрели точно такие же глаза, ну ничуть не лучше, если не считать того, что они были чуточку потрезвее.

– Фролов, вот ты мне скажи, как мужик мужику, скольких ты баб имел? – Он подпёр подбородок рукой и медленно что-то жевал. – Ты, так сказать, итоги своей жизни подбивал? Зачем жил на белом свете?

– Не-а, – Фролов смотрел на него осоловелым взглядом. – А зачем?

– Чего зачем?

– Итоги моей жизни, – он сделал паузу. – Трое детей: два сына и доченька Катюша.

– Да ты о чём, Фролов? Я тебя спрашиваю, ты подсчитывал скольких баб имел, а он мне про спиногрызов. У меня их по Союзу...

– А зачем?

– Чего зачем? – Никонов перестал жевать и, убрав руку со стола, уставился на собеседника.

– Ну, зачем много баб иметь? У меня Люська и мне хватает. – На что Никонов в нетерпении заёрзал на стуле.

– Ты чё, Фролов, хитришь. Может, скажешь, у тебя никого

кроме Люськи не было.

– Нет, по молодости были. Так, глупость одна, а как женился... не-а. Да и морока с ними. Они же чужие.

– А Люська тебе родная, да? Кровиночка. Дурак ты, Фролов, бесповоротный. Я вот как-то начал подсчитывать, скольких

я имел, после ста сбился со счёта. Надо как-нибудь сесть с авторучкой и тетрадь. Подвести, так сказать, сальдо.

– Зачем?

– Н-нда, хорошая у тебя жена, Фролов, ой, хорошая. Смотри, что тебе на работу собрала, – он хитро улыбнулся. – Заботливая. А затем, что все бабы сучки. Надо только знать, когда у неё чёс,

и всё, и она твоя.

– Не понял, чёс? – Фролов замер.

– Да, да. У сучек течка, а у баб чёс. Вот, как ты узнаешь, когда у неё чёс, она твоя. Главное, на тот момент подход к ней найти. Ей ведь в это время всё равно, кто на ней, главное, чтоб... там... что-то было. – Никонов, довольный от сказанного, откинулся на спинку стула. – А ты прожил жизнь и об этом ничего не знаешь?

– Зачем? – Фролов, расстегнул рубаху. – Мне это не надо. Я хочу по-человечески жить, а то течка, чёс, это по твоей... по кобелиной части. Мне это не надо.

– А я что, по-твоему, не человек? – во взгляде Никонова что-то произошло. Он тяжело оторвался от стула, разлил

из фляги спирт:

– Да, Фролов, хорошая у тебя Люська. Были у меня и такие, как твоя, были даже и получше. Знаешь, одна была, – он крякнул от наплывших воспоминаний. – Катериной звали, так она, у-у-у, в постели заводная была, что твоя швейная машинка. А другая была, вот убей, не помню как звали, майор милиции. Я её ласково «ментулечкой» называл, от этого имени её и не помню.

Так я её, свою ментулечку, заставлял в постели китель надевать, со всеми регалиями. Представляешь, Фролов, сиськи и звёзды на погонах. В её лице я всю нашу родимую милицию имел. Очень сильное получал удовольствие. Но лучшее, что я тебе скажу, Фролов, это когда ты жену своего лютого врага имеешь, по её согласию... Эх! С-са! Знал бы ты, Фролов, какие у меня бабы были...

– Так уж и были? У тебя, Никонов, всё больше «прости, господи» были. С тобой ведь порядочная бабёнка не пойдёт. Ты ведь хлыщ, мамука белобрысая. – Фролов уже сильно опьянел. Спирт и жара медленно, но обоюдно делали своё дело. У него от любых сказанных Никоновым слов под сердцем словно закипала кровь. И ему всё чаще стала приходиться в голову одна мысль: «Может врезать этому мамуке промеж глаз?»

– Ты хочешь сказать, Фролов, что у меня были одни проститутки, а порядочных баб не было?.. Ты это хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что... он... у меня на помойке вы-

рос? – И не чокаясь с Фроловым, стоя опрокинул содержимое стакана в себя. Зло сел. Сильно засопел.

– Ты пей, евнух хренов. А насчёт бабской порядочности это ты погорячился. Как пить дать, погорячился. Запомни, Фролов, – он откусил, оторвав зубами сало, зачавкал открытым ртом. – Ты запомни, Фролов, одну главную житейскую истину: «Порядочных баб не бывает». Хоть раз, а замужняя баба под чужим мужиком, но побывает. Запомни, хоть раз, но побывает, а может и не раз. Это кому как понравится. Баба она создана для чего? – Он уставился на Фролова. Тот после выпитого усиленно закусывал.

– Ты это кого спрашиваешь? – Фролов перестал жевать. — Меня, что ли?

Никонов в пьяном недоумении огляделся вокруг:

– А кого же ещё? – И икнул. – Мы пока здесь вдвоём.

– А-а, – Фролов прожевал. – Наверное, рожать детей... чтоб не мужику это доставалось. А? А моя Люська порядочная. – Он опять зажевал.

Никонов вытер ладонью губы, развезя оставленный от сала жир так, что он заблестел на свету. И набычась, глядя из подлобья, выдавил:

– Я же тебе говорю, что порядочных баб в природе нет. И... и... твоя... Люська... не исключение.

– Пошёл ты, мамука белобрысая.

– Пошёл, куда пошёл. Да я, если хочешь знать, и твою... Люську... имел...

– Что? – И Фролов, как сидел, не вставая, ударил Никонова в лицо. Да так, что тот, перевернувшись вместе со стулом несколько раз, остановился только у стены. – Что ты сказал? Люську? Ты мою Люську? Убью, гада! – Он вскочил и кинулся на Никонова, нога зацепилась за ножку стула, и он упал на пол лицом вниз. Никонов, извернувшись, выскочил в коридор и подпёр дверь ломом.

– Всё, тебе конец. Убью гада. – Фролов несколько раз пытался встать, но выпитое не давало ему это сделать, его словно кто-то подталкивал, и он падал. В конце концов ему удалось добраться до двери.

Дверь была заперта. Матерясь, Фролов бросался на неё всем телом.

– Успокойся, Фролов. Ты чё кипятишься? Ну, было и прошло. Ты сам посуди, тогда дело молодое. У бабы чёс, а ты на заработках, ну и что прикажешь бабе делать? На твою фотокарточку молиться, а? Да и как на зоне говорят: «один раз не пидорас». Когда это было, сорок лет прошло. – Никонов прислушался.

– Фролов, кончай дурить. Всего-то один раз и было. – Он, прижав ухо к двери, прислушался. Из-за дверей слышалось возбуждённое сипение.

– Всё, давай, мир, мы же с тобой мужики. Выдай мне индульгенцию за грех и на том забудем.

– Забудем, говоришь? Но ведь ты помнишь и, наверное, кому-то рассказывал. У тебя не язык, а помело. От-

крой дверь лучше по-хорошему. Не сегодня, завтра всё равно убью тебя. Пачкун блудливый. – Он ещё несколько раз ударился всем телом о дверь, но уже как-то неубедительно.

– Фролов, дай мне мой полушубок и я уйду. Замёрзаю. Мороз, наверное, уже под сорок.

– Ну и замерзай. Я тебя на улицу не выгонял, – Фролов, покачиваясь, тяжело направился к столу. По дороге он поднял свой стул и грузно на него опустился, уставившись в темное промёрзлое окно. Отчего-то вспомнилось, как они с Люськой познакомились на танцах в заводском клубе. И как он её провожал до калитки дома, боясь даже случайно прикоснуться к её руке. Эти воспоминания были так явственны и реальны, что он даже вздрогнул, когда вдруг увидел своё отражение в чёрном стекле.

Дверь заскрипела и в возникшую щель просунулась белая голова Никонова. По всему лицу у него была развезена кровь.

– Ну, чё, Фролов, мир?

Фролов равнодушно посмотрел в его сторону:

– Забирай свои шмотки и иди.

– Да, да. Конечно, – Никонов засуетился, влезая в свои валенки, натягивая на себя полушубок. Покидав какое-то тряпье в сумку, он выжидательно уставился на Фролова: – Ну, чё, может, выпьем за мир? Или, того, на посошок?

Фролов сгрёб со стола нож и процедил сквозь зубы:

– Уходи, Никонов.

– Всё, всё. Я пошёл. Счастливо отдежурить. – Дверь закрипела и закрылась.

Фролов ещё долго сидел, уставившись в окно. Так долго, что, прогорев, остыла печь и в сторожке стало зябко. Отчего-то завыли собаки. Мысли его беспорядочно скакали по памяти, они были уподоблены брошенному на произвол судьбы небольшому судёнышку, которого гоняют ветер и волны по просторам океана без цели и направлений. Наконец и ему стало холодно.

Он устало встал. Смахнул всё со стола на газету, достал пакет с костями и, натянув на голову шапку, вышел на улицу. Холодный воздух ударил в легкие освежающе, так что он едва не задохнулся от морозности. Купол неба был усыпан яркими и такими близкими звёздами, что он невольно зажмурился. Фролов с минуту постоял, дыша и любясь небом, но, почувствовав на щеках щипание мороза, поспешил к собакам. Те отчего-то волновались, поскуливали.

– Ну что вы? Вот, согрейтесь. Гостинец вам, гостинец, – но собаки к пище не притронулись. Одна из них, Чернушка, раз за разом лаяла и металась по вольеру. Фролов в тревоге стал озираться по сторонам. И вдруг ему то ли почудилось, а то ли послышалось какое-то мычание или бляение. Он, приоткрыв дверцу, выпустил Чернушку и, скомандовав: «рядом», направился к сторожке.

Одевшись, он вышел, Чернушка буквально потащила его к траншее. Пройдя метров двадцать по тропинке, Фролов

оказался у того самого места, где чуть было не оказался на её дне. Подойдя к самому краю, он заглянул на дно траншеи. Там кто-то был.

– Эй, кто там! Эй, откликнись! – Фролов прислушался и вглядывался в серость дна.

– Я это... Я... Никонов. Всё... не могу уже... Фролов, вытащи меня... Нога... Ногу... сломал... вы-ытащи, – и он не то завыл, не то заплакал. – Фролов, миленький, вы-ытащи... замерзаю...

– Кто? Кто? Никонов? А-а. Как же ты так? Ну, держись. Сейчас мы с Чернушкой тебя достанем. Сейчас. Мигом. Да, Чернушка? – Та завиляла хвостом и несколько раз тьякнула, словно подгоняя. – Мамука, ты и есть, мамука. Пошли Чернушка, пошли.

Подойдя к вольеру, он завёл в него собаку. Постояв несколько минут, медленно побрёл к сторожке. Зайдя, разделся, выгреб из печки всю золу, нарезал щепу. И когда в печи затрещали в огне поленья, он с полсовка подкинул угля. И уже через час печь вновь раскалилась докрасна и в сторожке стало жарко, да так, что Фролов снял с себя свитер.

Убрав всё со стола, он тщательно его протёр влажной тряпкой. Затем, не торопясь, перемыл всю посуду и поставил сушиться здесь же подле печки. Когда в сторожке был наведён порядок, Фролов налил кружку чая и долго пил, обжигаясь.

И вдруг, словно что-то вспомнив, усмехнулся:

– Индульгенция... надо же... ин-дуль-ген-ция. – Оделся и вышел к собакам. Те лежали смиренно на соломе и прижавшись друг к другу.

– Чернушка, пошли территорию обойдём. Конечно, какой дурак в такой мороз придёт сюда. Но служба есть служба. – И они, неторопливо побрели вдоль забора по натоптанной тропинке, смотря по сторонам, нет ли каких посторонних следов.

Когда обход заканчивался, с неба тихо и плавно запарили снежинки. Сначала робко, затем смелее и смелее. Заходя в сторожку, Фролов оглянулся в ту сторону, где была траншея. В коридоре он не отряхнулся и не сбил с ног снег, а так, как был, и зашел в сторожку. Повесив полушубок и сняв валенки, он завалился на кровать.

Сменщик пришел вовремя и навеселе. Праздник есть праздник.

– Кузьмич, а ты знаешь, что такое индульгенция? – Фролов с любопытством ожидал ответа.

– Да, это что-то у католиков с грехами связано. А тебе зачем?

– Тут один знакомый у меня эту самую индульгенцию просил.

– Ну и как? Ты же не поп, – Кузьмич засмеялся. – Что только люди не придумают.

– И я про то же, Кузьмич, был бы я поп, то другое дело. А я простой смертный, какая там нахрен индульгенция. – Он

достал белоголовую. – Ну что, Кузьмич, наш праздник?

Никонова вытащили из траншеи только через неделю. Следствие пришло к тому, что шёл пьяный, свалился в траншею и замёрз. Похоронили его тихо и незаметно.

Фролов прожил ещё семь лет. На похоронах было много народа, как молодых, так и старых. У гроба его старуха Люська сильно убивалась и просила: «Прости, Сашенька, прости меня нерадивую».

Говорят, что, находясь при смерти, старый Фролов спросил её: «Люся, мать, как же ты с Никоновым, а?»

Дочери Катюше прошептал: «Мать когда преставится, не хороните её рядом со мной, пусть где-нибудь поодаль лежит, поодаль...» – и отвернулся, умирая.

И только ещё едва уловимое послышалось: «Индульгенция, прости меня, Господи».

## *Свидание*

Ильгиз смотрел в грязное вагонное окно, отделенное холодным серебром металлических прутьев, покачивался в такт и думал о пережитом.

Неужели то, что с ним сейчас происходит, не сон? И будет длиться долгих пять лет. Господи! Как хочется проснуться!

«Не сон, не сон, не сон», – выстукивают, словно дразня, колеса, а память снова и снова возвращает его в тот злополучный вечер в парке.

Так сколько же их было? На суде – пять. Пять на пять и дали пять... Нет, гораздо больше. Навалились со всех сторон и разом. Когда началась драка, двоих он сразу срубил, а дальше как в кино: лица, руки, ноги, рукава, воротники и оглушительная музыка, сочно приправленная криками, матом. Кто-то и его зацепил, но Ильгиз устоял. Вот тут-то Коц и вывернулся с арматуриной, здоровенный жлобина. Орал что-то... Как рифлёная железяка очутилась в руках, Ильгиз не помнил. И следовательно об этом говорил, и на суде, да разве кто слушал. Следователь ехидно переспрашивал: «Неужели совсем не помнишь? А ты напрягись памятью. Может, не Коц, а ты её с собой принёс? Пред-на-ме-рен-но-о? А?»

Ильгиз действительно не помнил. Да и врать не умел, говорил правду. В памяти осталось, как промахнулся Коц.

Когда закричали: «Атас! Менты!» – железяка была уже у него, а Коц стоял на коленях, обхватив лицо руками. Изпод ладоней черной краской хлестала кровь.

Конечно, нужно было железяку бросить, а он в горячке с ней в руках по кустам от милиции побежал. Только когда через забор перемахнул, отшвырнул – сейчас металлический звон по асфальту в ушах стоит.

Эх, Москва, Москва, дорогая моя столица. Знал бы, что такое случится, после армии ни за что бы не остался, Казань ждала, вся родня там. Мать уж очень этого хотела, как предчувствовала. Не послушал, дурак, в столице захотелось

пожить. Даже на родину, в Уфу, не вернулся. Следователь кривился: «Ох уж эта лимита, нет от вас покоя. Ладно бы друг другу морды били, а то коренных цепляют. Как мухи в Москву лезут, лезут. Медом, что ли, тротуары здесь намазаны? А если б убил парня?»

– Ильгиз, – с верхней полки свесилась ушастая, наголо стриженная голова с приплюснутым носом, – ты что, заснул? Или родными краями запахло?

– Нет, не сплю. Мысли одолевают разные. Думаю, – Ильгиз отвернулся от окна, тяжело вздохнул.

– Брось, пусть лошадь думает, у нее голова большая. А мы своё отдумали. Плюй на все, береги здоровье. Оно тебе ещё пригодится. По первой всегда думаган, одуреть можно. – Голова спряталась. – Это первые пять лет тяжело, а потом привыкнешь.

– Насчёт привычки ты прав. Хоть волосы рви, хоть локти кусай, привыкать придётся. Только вот жить не хочется. Ты не знаешь, куда нас везут?

– Э-э, перестань! Куда, куда... Ты ещё спроси, зачем? Нет, быстрее бы на зону. Там время побежит, скучать не придётся. – И он замурлыкал:

*Если вора полюбишь, воровать он завяжет,*

*Если вора полюбишь и он тоже не прочь.*

Но, словно поперхнувшись, замолк. Загорочался.

Ильгиз думал. За свои неполные двадцать четыре года никогда не ворошил так много прошлого. Раньше просто

жил себе изо дня в день, почти без воспоминаний. Времени не было задуматься. А сейчас словно прорвало, вспомнилось давно забытое, хотя всякий раз память возвращала к последним событиям. С того самого момента, как забрали из общаги, как захлопнулась дверь КПЗ, лязгнув защелками. Разум ещё на что-то надеялся, а сердце нет, оно знало наперёд – свободе конец, посадят.

Долгое следствие, недолгий суд, и вот он здесь. Увозят дальше и дальше от жизни. А он не хочет, не хочет!

Почему так несправедливо? Кто этот сильный и безжалостный? Зачем лишил его свободы и засунул в металлическую клетку, из которой нет выхода, внутри которой трудно дышать?

Ночь. Сна по-прежнему нет. Стены, потолок, бледный свет зарешеченной лампочки давят. Хочется воздуха, морозного ветра и свободы. Господи! Как хочется на свободу! Ильгиз застонал... Жизнь оборвалась, впереди пугающая пустота. А где-то, за многие сотни километров отсюда, все осталось без изменений, и его, наверное, уже забыли. Друзья попивают винишко. Танцующие, девочки. Катюшка, милая Катюшка... Пожалела, называется, успокоила:

– Ты же не в космос летишь, не на Марс! Мне девятнадцать уже. Сам думай. Подвернется кто, замуж выскочу.

И всё. И равнодушие в глазах. Но он-то заметил горечь в судорожно сжатом разрезе губ, отчаяние и усталость, скрытые за яркими румянами. Конечно, тюрьма не Марс, хуже.

Обиды на неё нет. Наверное, так и должно быть.

Обрывки воспоминаний перемешивались, словно в детском калейдоскопе, наползая друг на друга, смешивая плохое с хорошим, и Ильгиз, забывшись, заснул.

А поезд грохотал колесами, разрывая чёрное пространство ночи, и всё дальше и дальше увозил горьких людей от их дома, от человеческого тепла, от всего того, что было привычно и любимо.

Утро облегчения не принесло. За окном, как и в душах, было пасмурно и зябко. В купе ехали трое. Ушастый, самый говорливый, бравировал, изображая из себя бывалого парня, но в глазах затаилась тоска. По его словам, это у него вторая ходка, и пел он вроде беззаботно, но со злобой.

«Нет, друг, – думал Ильгиз, – как ты перед нами ни выпендривайся, тебе тоже не сладко. Крылышки подрезали, не вспорхнешь. Это не в отпуск на море».

А попал ушастый за угон машины, покатался по-пьяни без спроса на чужом «жигульке» и превратил его в лепёшку. Ладно, хоть не пострадал никто. Теперь вот – самого катают, тоже без спроса.

Второй был дед. Молчун. Вздыхал всю дорогу да всхлипывал иногда и молитвы читал. А сейчас что молиться? Молись не молись... Тоже водочка подвела. Сам не рассказывал, ушастый поведал.

Дед сторожем работал, телят охранял. Ночью начальства нет, сам себе начальник. Махнул малость самогоночки

и в сено примостился, вздремнуть чуток. А самокруточку обронил. Как жив остался, одному Богу известно, но проявил геройство – часть телят спас. Потому и дали мало, всего-то два года. Говорит, в войну пацаном партизанил. Ушастый его подначивает: «Тут, говорит, дед, разобраться надо, против кого партизанил-то. По проступку, видно, война для тебя не кончилась. На диверсанта смахиваешь. Какое задание получил, Джеймс Бонд?»

Сопит обиженно дед. Сопит и вздыхает. «Ну, болтун. А? И как такой смог вылупиться? Эх, болтун, он есть болтун. А про меня в народе говорят: от тюрьмы и сумы не зарекайся».

Ильгиз лежал с закрытыми глазами, но не спал. Тяжело деду, тяжело ушастому. Всем тяжело. «Отпустили бы меня сейчас, ведь не убил никого. Пить бы бросил, на Катьке женился, на все собрания ходил бы, и ни в какие драки, никогда... Почему так много дают? С ума можно сойти – пять лет! Стариком оттуда выйду. Таким же вот дедом слезливым. С матерью, как в армию ушёл, так и не виделся. Четыре года одним днём пролетело. Когда теперь увижу? Да и увижу ли...»

– Ильгиз, ты что дрыхнешь? Ну ты мерин, я скажу. Мы ведь по Башкирии тащимся, по солнечной родине твоей.

Ильгиз вскочил, припал к окну. Как же это он? Раевка, Раевку проехали, вот чёрт. Уфа скоро.

Мелькали станции, полустанки, поезд спешил, торопился

довезти своих пассажиров до места назначения. Когда позади осталась станция Дёма и вагоны загрохотали по мосту через Белую, Ильгиз весь сжался. Его лихорадило, кровь гулко била в висках. Все, все здесь ему знакомо. До мелочей, до скрытых подробностей. Он смотрел широко распахнутыми глазами, вбирая в себя увиденное, сравнивая, сопоставляя.

Вон там, напротив памятника Салавату Юлаеву, он купался, загорал, валялся беззаботно на песке, рыбачил... А здесь, на берегу, под самым обрывом была небольшая беседка... остатки её... столбики виднеются. Они просидели в ней с Динкой до утра, встретили солнце, и он ушёл в армию с её поцелуями на губах и с клятвой о возвращении.

И вот – возвращается. Всех забыл: и Динку, и родителей. Что за сон? Что за наваждение? После армии даже на день не приехал. Да что там, писал по три строчки в полгода.

Будто почувствовав его состояние, поезд сбавил ход. Ильгиз верил и не верил своим глазам. Родительский дом, его дом, с коричневой, крашеной крышей, с несколькими белыми латками оцинкованного железа и новыми, ещё не крашеными воротами. Да, да, обо всем сестра писала.

Напротив дома зеленая лужайка упругой травы, по которой он любил бегать босиком – холодную нежность её он явно вспомнил сейчас. А там у самого забора рос куст паслёна, черная ягода которого никогда не была запретна, и он наедался её до одури, до сладостной икоты.

Вагон медленно, словно спотыкаясь на стыках рельсов, поравнялся с домом. Ильгиз задохнулся. У колодца с журавлём, с коромыслом и ведрами стояла мать. Вода была набрана, она подцепила вёдра, собираясь идти, но, увидев проходящий состав, задержалась.

– Эни, – выдохнул Ильгиз, вцепившись в решетку.

– Эни, – с трудом шевельнулись губы.

– Э-э-н-н-и-и!!! – истерично, во весь голос заорал так, что ушастый сорвался с полки и побелел лицом, а дед часто-часто закрестился.

– Э-э-н-и-и! Мин монда! Вот он я! Ал мине! Энии! Ал мине! Пустите меня! Пустите... гады! – он тряс решетку, кидался на неё грудью. Казалось, ещё мгновение, и он начнёт грызть металл зубами.

Мать словно услышала или почувствовала что-то. Оглянулась и замерла, глядя на их вагон.

Ильгиз отпрянул. «Эни, эни, эни! Мин монда. Ал мине. Ал мине», – шептали губы. И так стоял он в глубине купе, пока мать, поправив коромысло с вёдрами, тяжело ступая, не пошла к дому.

Теперь, прильнув к металлическому холоду решеток, он видел её. В старенькой фуфайке, в носках из белого козьего пуха, в галошах, в чёрном платке и чёрной юбке, она была ему ещё родней, ещё любимей.

Может, это по нему траур? Он жадно смотрел, как она уходит, и слёзы текли нескончаемо, наверное, из самого

сердца. Ему становилось легко и покойно.

– Эни-и, – нежно прошептал он. – Вот и свиделись. Прости меня.

Настоящее уже не казалось сном, а будущее таким страшным и беспросветным. Надо жить, Ильгиз. Надо жить, говорил он себе. Пять лет – это ещё не вся жизнь.

## *Грех*

Третьи сутки с небольшим перерывом моросил дождь. Лес вымок насквозь. Земля перестала вбирать в себя воду. Даже стволы деревьев, насытившись, казалось, источали из своей коры влагу.

Среди утренней мглы и монотонного шума дождя было едва слышно чавканье сапог, устало бредущих вооруженных людей. В поднятых капюшонах плащ-палаток они походили на таинственных обитателей ночного леса. Их было четверо. Двое посередине несли грубо срубленные из жердей носилки. Осторожно идущий первым остановился и поднял руку, шедшие следом замерли, бережно опустили свою ношу. Замыкающий группу присел на корточки.

В просвете между деревьев виднелся кусок лесной дороги.

– Привал, – первый сбросил с себя капюшон. – Что за чертовщина? Этой дороги на карте нет. Куда нас занесла нелегкая? – Он, озираясь по сторонам, подошел к носилкам. – Час отдыха и вперед. – Опустился перед носилками на колени.

– Олег! Ты как? Олег! – приподнял край брезента. – Олег, слышишь меня? – Серое пятно лица смотрело невидящим взглядом куда-то в сторону.

– Олег! Ты что?!.. Сашок!.. Ребята! Олежек умер...

Четверо молча сгрудились у носилок. Стащив с головы капюшоны, они стояли с непокрытыми головами и смотрели в невидящие глаза своего товарища.

С самого начала выход в тыл врага, за Днестр, не задался. Удачно форсировав реку и перейдя минное поле, они неожиданно столкнулись с патрулём противника. Бой был короткий. Скорее не бой, а нападение. Хладнокровно расстреляв, принялись обыскивать убитых, и здесь Никита невольно поймал себя на мысли, что эта процедура ему крайне неприятна.

«Они же ещё тёплые, может жизнь еще не до конца покинула их бранные тела, а с ними уже можно делать все, что угодно. И никто из них себя не защитит», – возникшая мысль поразила Никиту. И еще, когда, перевернув убитого лицом к себе, удивился, что перед ним не моджахед. Забытое число раз, вот так же, переворачивая труп, он знал, чьё лицо увидит. А сейчас, чисто выбритый подбородок заставил вздрогнуть от неожиданности. «Тьфу, —выругался про себя, – без войны кисейной барышней сделался, совсем отвык от запаха свежей крови. Еще с годик такой жизни и, наверное, плакать навзрыд над убитыми буду». Он с интересом заглянул в открытые глаза убитого, словно пытаюсь понять,

увидеть, что там за жизнью.

Стрельбой нарушили планы, надо было уходить. Преследователи шли по пятам и только благодаря дождю да афганскому опыту им удалось оторваться. Торопились. На вторые сутки нашли склад с боеприпасами и техникой. Устроили грандиозный фейерверк.

Олег – балагур и анекдотчик или, как его называли друзья ласково – Хохлёнок, прикрывал отход группы. Когда напряжение спало, когда усталость была загнана чувством выполненного задания в самые потаенные уголки сознания, там, где он находился, откуда его ждали, рвануло...

– Да-а, жизнь наша – суета и томность духа. Вот и Хохлёнка нет, он еще здесь с нами, а его уже нет. А мог тренировать ребятню кулачному бою в своих Черновцах и жить. – Никита отмерил длину, ширину, рубанул саперной лопатой контуры будущей могилы.

– Рано или поздно так будет с каждым из нас. Только не знаем, где и когда, – он говорил сам с собой, тихо бурча под нос. — Да и хотелось бы, чтоб похоронили по-человечески, а не бросили на съедение... – Защемило под сердцем, словно кто пинцетом зацепил за живую плоть. Тяжело вздохнул, стиснул зубы до скрипа:

– Весь Афган прошёл вдоль и поперёк... Эх... надо же... так нелепо. Хохлёнок ты наш, Хохлёнок...

– Александр, ты иди к дороге, понаблюдай там... и аккуратней. Витёк, вы с Вовчиком яму копайте, а я Олежку пока

в порядок приведу. Чтоб пред Богом предстал как положено. – Никита скинул с себя плащ-палатку. Дождь неожиданно прекратился. Лишь крупные капли, сброшенные с самого верха деревьев, еще падали, норовя попасть за шиворот, неся разгоряченному телу прохладу.

Могилу копали молча. Земля, насыщенная влагой, оказалась податлива. Тонкие корни деревьев сочно брызгали, словно лопались под ударами лопат и не сопротивлялись.

Никита застегнул на Олеговом камуфляже все пуговицы, на берцах окровавленные шнурки завязал на два узла накрепко, навечно. В кармане оставил зажигалку. Пачку сигарет «Прима» разорвал пополам, на две части, одну часть с одной сигаретой засунул в нагрудный карман мертвого товарища, другую в свой карман.

Дно могилы, утрамбовав ногами, застелили ветками деревьев, на ветви расстелили плащ-палатку. Опустили тело, сложили руки крест-накрест, а в левую ладонь вложили рожок от автомата.

– Спи спокойно, дорогой наш товарищ Олежек. Пусть земля тебе будет пухом, – Никита неумело перекрестился, за ним перекрестились остальные. – Верь, мы за тебя отмстим.

Плащ-палатку с телом обвязали ремнями, верх могилы, плотно один к одному подогнав, закрыли дрючками, как закрывают мусульманские могилы, и торопливо засыпали землей. Когда над холмиком соорудили крест, из-за обла-

ков пробилось солнце. Небо обдало бездонной голубизной. Они молча постояли над могилой. Трижды подняв автоматы, клацнули, всякий раз передергивая затворами.

Александр – донской казак с сине-бордовым шрамом на левой щеке, прохрипел осипшим голосом:

– Дождь его загубил, дождь, – подсоединил рожок к автомату, вогнал патрон в патронник и повел покатыми плечами. – Кабы не дождь, он не потерял бы тропу. А так... вода траву спрямила, след нарушила, он с тропы и сбился... спешил.

С ним никто не спорил. Были заняты своими мыслями. Но каждый думал об одном и том же: на месте Олега мог быть любой из них. Просто ему кости судьбы так выпали.

Отойдя от могилы, попадали кругом, несмотря на сырость, пренебрегая всеми требованиями предосторожности, только автоматы сняли с предохранителей. Усталость сладостной истомой обволакивала расслабленные ноги, тело. Сухари не хотелось жевать, поскольку от их хруста вздрагивал ослотивший мозг и сбросивший дрему разум назойливо подсказывал: «Не спи, опасность рядом, не спи». Никита же с нарочитой яростью вгрызлся в кусок пересохшей горбушки. Он знал, что сейчас даст команду и бойцы встанут через «не могу» и пойдут. Но медлил, оттягивая этот момент, хотя отведенный час давно закончился.

Наконец скомандовал:

– Все, мужики, пора. Домой вернемся, Олежку помянем

и отоспимся, – резко встал, энергично сделал несколько приседаний. – Нам нельзя здесь больше оставаться. Мы и так из графика выпали. Сейчас только вперед и вперед.

Чернявый красавец, Витька-Молдаван угрюмо усмехнулся:

– Нам бы, дядя Никита, день продержаться, да ночь постоять. – Все улыбнулись.

– Нет, племянничек Витичка, прошагать, а где и пробежать, а где и на брюхе проползти. И главное, следов поменьше после себя оставить. Хотя... большего оставить невозможно. – Он, тяжело вздохнув, осмотрел товарищей. Плащ-палатки крепко связаны и приторочены к рюкзакам. Обувь, обмундирование – все в надлежащем виде. Мельком глянув на могилу, мысленно бросил: «Спасибо, Олежек. Своей смертью ты дал нам шанс выжить. Спасибо, друг». И громко для всех:

– А ну попрыгали, – сам, для примера, сделал несколько подскоков. Этого можно было и не делать, четверо из пяти – бывшие афганцы, более того офицеры разведчики. Нет, уже трое. Один Витька-Молдаван, родом из Тирасполя, не нюхал пороха. Так сложилось, что даже в армии не служил, но науку воевать освоил быстро. Как губка впитывает, а пострелять... медом не корми. Воюет

с наслаждением, с каким-то немислимым азартом. Одним словом – играет. А может, такие войны и есть игра для взрослых, игра настоящих мужиков? – И усмехнулся своим мыс-

лям.

Александр в Афгане хлебнул лиха, дважды был ранен, горел в «вертушке» вместе с генералом, ставшим впоследствии знаменитым. Шрам через все лицо оттуда. После войны, что перекасти-поле, благо Союз большой, так нигде и не прибил-ся. А на Дону, говорит, душно, обмельчали казачки, выродились. Сорняк, говорит, остался, вроде меня. Хотя папах понашили да шашек понапокупали.

С Вовкой-Душманом Никита воевал вместе. Не один су-харь пополам съели, не одну флягу воды разделили, а про то, как на караваны ходили – отдельный разговор. Душманом прозвали еще там, как обрастал щетиной – истинный дух. Это он Никиту в Приднестровье вызвал. Написал: «Приезжай в Дубоссары, есть интересное дело и с нашими встретимся», и он приехал.

Никита смотрел на осунувшиеся, грязные, небритые лица, но не видел их. Он видел сжатые губы, жесткие, внимательные глаза, в которых горел холодный рассудок воинов.

– Все, потопали. Александр – вперед, я замыкаю. – И, не оглядываясь, пошел вдоль дороги.

Не прошли и двухсот метров, когда по дороге, разбрасывая шмотья грязи, грозно рыча, пронеслась БМП с шестью автоматчиками на броне. Где-то далеко, в глубине леса, слышался лай собак. Не сговариваясь, прибавили шаг, а потом и сами не заметили, как перешли на бег. Таким темпом, лавируя между деревьями, отмахали километра три и выбе-

жали к шоссе. Так же, не сговариваясь, попадали в цепь под кусты, зорко всматриваясь и тяжело дыша.

– Никита, ещё один такой марш-бросок и не дождётся маменька сыночка своего, – тяжело дыша, просипел Александр. – С вашей беготней, казаки-разбойнички, весь сон разогнали. – Он упал рядом и напряженно уставился в сторону шоссе.

– Немудрено, Саня, – Никита сам сипел легкими, – время полдничать, а у нас во рту ни маковинки, ни росинки. В нашей первопрестольной, небось, свободные художники проснулись, кофею изволят кушать. Так что можешь считать и у нас время подъема. Самая пора для творчества. – Он также внимательно всматривался в проносившиеся по шоссе автомобили, автобусы.

Солнце нещадно припекало, земля парила, дышалось тяжело.

Вовка-Душман подбежал, согнувшись, перебежками:

– Командир, надо уходить отсюда, засветимся. Увидят, стукнут, нас здесь и завалят. Не выпустят.

Никита понимал, что собачий лай не случаен, да и БМП с автоматчиками в лесу тоже не на экскурсии. Ищут их. Но как перейти шоссе незамеченными? Как?

Несколько раз по шоссе проехал военный патруль.

– Нет, мы так ничего не вылезим. Давай обратно в лес. До ночи ждать, резона нет.

Проследив, как бойцы, проскользнув, словно тени, исчез-

ли в лесу, он тоже в несколько приемов оказался рядом. Не останавливаясь, побежали друг за другом по лесу вдоль шоссе.

«Раз, два, три. Три, четыре, пять, вышел зайчик погулять»... – Никита дышал в нос, задавая себе ритм бега и думал, что становится староват для таких вот пробежек на свежем воздухе.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.